

Всеволод Сергеевич Соловьев

# Юный император



Серия исторических романов

Всеволод Соловьев

**Юный император**

«ВЕЧЕ»

1877

**Соловьев В. С.**

Юный император / В. С. Соловьев — «ВЕЧЕ», 1877 — (Серия исторических романов)

ISBN 978-5-4444-1595-5

Смутное переходное время русского общества, вызванного к новой жизни гением Петра Великого, создало целый ряд страшных драм. Перед нами проходят вереницы виновных и невинных жертв общественного разлада, и невольно сжимается сердце, вспоминая судьбу иных чистых и светлых людей, безвременно погибших. Среди этих образов стоит и юный император. Природа богато одарила его. В другое время, в других обстоятельствах, при другом воспитании из него, может быть, вышел бы достойный преемник великого деда. Но судьба решила иначе. Выдающийся русский писатель Всеволод Сергеевич Соловьев сумел в легкой и увлекательной форме рассказать о наиболее важных событиях, произошедших за два с половиной года царствования молодого государя Петра II.

ISBN 978-5-4444-1595-5

© Соловьев В. С., 1877

© ВЕЧЕ, 1877

# Содержание

Об авторе	6
Часть первая	8
I	8
II	13
III	18
IV	20
V	23
VI	26
VII	30
VIII	32
IX	35
X	39
XI	42
Конец ознакомительного фрагмента.	45

# **Всеволод Соловьев**

## **Юный император**

© ООО «Издательство «Вече», 2014

© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2016

## Об авторе

Популярный в конце XIX века романист Всеволод Сергеевич Соловьев, «один из наших Вальтер-Скоттов» (как его прозвали современники), родился в Москве 1 (13) января 1849 года. Он был старшим сыном крупнейшего русского историка Сергея Михайловича Соловьева, чья многотомная «История России» до сих пор является одной из серьезнейших работ по изучению прошлого нашего отечества. Дом Соловьевых был местом встречи многих выдающихся москвичей своего времени. Здесь, например, бывали историки Т. Н. Грановский и П. Н. Кудрявцев, собиратель народных сказок А. Н. Афанасьев, знаменитые писатели братья Аксаковы и А. Ф. Писемский, а также много других интересных людей. Такое окружение не могло не вдохновить юношу, сподвигнув его на самостоятельное творчество. В литературу Соловьев вступает как поэт, публикуя в журналах небольшие стихотворения (по большей части без подписи) и короткие рассказы. В 1870 году Всеволод заканчивает учебу на юридическом факультете Московского университета и поступает на службу во 2-е отделение Императорской канцелярии. Но мечта о серьезном занятии литературой не покидает новоявленного чиновника. В 1872 году Соловьев знакомится с Ф. М. Достоевским, которого позднее назовет своим «учителем и наставником». С детства воспитывавшийся в православном духе, Всеволод решает написать роман о борьбе православия с католицизмом, точнее – с иезуитским орденом, пришедшим на западные русские земли. Опубликованный в 1876 году роман «Княжна Острожская» имел большой успех и навсегда определил дальнейший путь Всеволода Соловьева – он становится писателем-историком. В течение нескольких лет один за другим появляются его романы: «Юный император», рассказывающий о царствовании Петра II, «Капитан гренадерской роты» – об эпохе дворцовых переворотов XVIII столетия, «Царь-девица» – о жизни царевны Софьи Алексеевны, «Касимовская невеста» – о несостоявшейся женитьбе царя Алексея Михайловича на Ефимии Всеволодской. Главным произведением Соловьева в тот период становится пятитомная эпопея «Хроника четырех поколений», объединившая романы «Сергей Горбатов», «Вольтерьянец», «Старый дом», «Изгнанник», «Последние Горбатовы». Этот цикл охватывает большую эпоху, от Екатерины II до Александра I, рассказывая о судьбах нескольких поколений медленно разоряющегося дворянского рода Горбатовых. Среди героев этих книг – Потемкин, братья Орловы, Сперанский, Аракчеев и другие.

Продолжая писать исторические романы, Соловьев вместе с тем переживает острый душевный кризис. Разочаровавшись в косной «государственной» церкви, Всеволод вступает на тропу духовных исканий. Он обращается к спиритизму, индуизму и буддизму. Под влиянием младшего брата, знаменитого философа Владимира Соловьева, писатель начинает увлекаться мистикой. Однако настоящая духовная близость между братьями отсутствовала, их отношения не выходили за рамки холодной светской любезности. К 1884 году относится знакомство Всеволода Соловьева с Еленой Петровной Блаватской. Писатель надеялся получить духовную поддержку от учения «женщины с феноменами» (как он сам именовал Блаватскую), но его ждало разочарование. В 1892 году Соловьев пишет книгу «Современная жрица Изида», в которой резко осуждает теософские идеи и личность Е. П. Блаватской. Позднее писатель признал ошибочность своей критики, но тогда он уже находился под новым религиозным влиянием – личности святого праведника Иоанна Кронштадтского, впоследствии канонизованного Церковью. Духовные искания Всеволода Соловьева нашли свое отражение в знаменитой дилогии «Волхвы» (1889) и «Великий розенкрейцер» (1890). Некоторые исследователи полагают, что образ священника Николая в этих романах воплотил в себе многие черты Иоанна Кронштадтского. На страницах дилогии появляется и другая интересная личность – граф Калиостро, которого писатель изображает не совсем так, как принято рассматривать образ этого сомнительного «вершителя тайной истории». Работал над дилогией Всеволод Сергеевич глав-

ным образом в Париже, где в Национальной библиотеке он внимательно изучал труды ученых и мистиков, таких как Парацельс, Эккартсгаузен, Николя Фламель. Писатель скончался 20 октября (2 ноября) 1903 года в Москве, оставив около двух десятков романов, многие из которых теперь возвращаются к современным читателям после почти векового забвения.

*Анатолий Москвин*

### **Избранная библиография В. С. Соловьева:**

- «Княжна Острожская» (1876)
- «Юный император» (1877)
- «Капитан гренадерской роты» (1878)
- «Царь-девица» (1878)
- «Касимовская невеста» (1879)
- «Хроника четырех поколений» (1881–1886)
- «Волхвы» (1889)
- «Великий розенкрейцер» (1890)

## Часть первая

### I

Роскошный дом князя Александра Даниловича Меншикова, что на Васильевском острове, представлял необыкновенное оживление. С утра до ночи толпа осаждала его, подъезжали всевозможные экипажи, у всех входов и выходов помещались караулы гвардии.

Дело в том, что вот уже больше двух месяцев, почти с самой кончины императрицы, в этом доме имел пребывание маленький император.

Светлейший князь Меншиков, когда-то бойкий уличный мальчишка, потешный товарищ Петра, потом знаменитый его сподвижник, «дитя моего сердца», по выражению покойного императора, почти полноправный хозяин России в царствование Екатерины I, теперь уже не ведал над собой ничьей власти и ничьего контроля. Хотя согласно екатерининскому завещанию он обязан был вершить все дела с согласия Верховного совета, но, конечно, это было только на словах, а на деле он управлял Россией, как ему вздумается. Да и кто мог ему противиться? Его дочь была объявлена невестой Петра II. Ему никто не мог воспрепятствовать перевезти императора к себе и, таким образом, отстранить от него всякое постороннее влияние.

Было славное летнее утро. Стали поговаривать о переезде двора в Петергоф; но покуда еще городская жизнь шла своим порядком: учителя аккуратно приходили давать уроки императору, и теперь один из них только что вышел из его апартаментов.

Петр II сидел за рабочим столом, окруженный бумагами, чертежами и всевозможными математическими инструментами – ему нужно было подготовиться к следующему уроку. Но он, видимо, скучал за своим делом; он посматривал в окно на Неву, по которой мелькали лодки, и нетерпеливо прислушивался, очевидно, поджидая кого-то.

Второму русскому императору недавно исполнилось двенадцать лет, но он казался старше своего возраста. Полный, высокий, с необыкновенной белизны лицом, с прекрасными голубыми глазами, он невольно обращал на себя внимание; напудренный, завитый мелкими буклями парик, по моде того времени, еще больше выделял красоту этого лица. Петр был похож на свою мать, «кронпринцессу» Шарлотту, и ничего не наследовал от отца, царевича Алексея.

Вот в соседней комнате послышались шаги. Дверь быстро отворилась, и на пороге показалась небольшая женская фигура. Вошедшая девушка была тоже почти ребенком, и в ней сразу замечалось сходство с императором. Хотя она была совсем не хороша, с неправильными чертами лица, но глаза ее сияли необычайной добротой и обнаруживали присутствие мысли и даже какой-то недетской задумчивости, улыбка ее привлекала к себе всех, кто ни смотрел на нее.

Войдя в комнату императора, девушка окинула ее быстрым взглядом и, увидев, что нет никого, с слабо вспыхнувшим румянцем на бледных щеках подбежала к Петру и охватила его шею своими тонкими руками.

– Наташа, – радостно выговорил император, – я давно жду тебя! Я думал, ты не придешь, хотя Андрей Иванович и сказал мне, что ты будешь наверно.

– Меня задержали, – ответила великая княжна Наталья, – но ведь ты знаешь, что если я что-нибудь тебе обещаю, то всегда и исполню.

– Ах, сестрица, – печально прошептал Петр, – отчего ты не живешь со мною? Меня в последние дни просто замучили совсем эти противные уроки. Посмотри, какая славная погода: по Неве хочется покататься, а Александр Данилыч не пускает... все учиться да учиться...



– Ну вот, погоди, погоди, – улыбаясь, заговорила сестра, – скоро переедем в Петергоф, там будет больше свободы. Андрей Иванович сказал, что все уж приготовлено к нашему переезду. Ведь ты любишь Петергоф. Помнишь, как весело было при бабушке? Ну вот и опять будем устраивать разные праздники, маскарады; сам знаешь, какая Лиза на это мастерица.

При этом имени яркая краска разлилась по щекам маленького императора.

– А что же Лиза, – запинаясь, спросил он, – она не приехала с тобою?

– Нет, но она будет, она обещала за мной заехать.

Дверь опять отворилась, и вошел плотный человек средних лет, с круглым, несколько женственным лицом, с мягкими, вкрадчивыми манерами.

– За делом, государь, – сказал он, кланяясь императору, – это хорошо. Поучитесь, поучитесь – отдохнуть будет приятнее...

– Эх, Андрей Иванович, да слишком уж много ученья!.. Вот сестрица приехала, с ней бы побыть хотелось. Неужто ж нельзя отказать учителю хоть на сегодня?

Вошедший улыбнулся:

– Я бы, пожалуй, отказал ему, хотя он уже тут дожидается, да что же скажет князь Александр Данилыч?

– Александра Данилыча нет дома, я видел сам, как он уехал. Голубчик, Андрей Иванович, скажите учителю, что мне некогда, что я делом занят... Александр Данилыч не узнает даже, когда вернется, – кто ему скажет?

– Ну хорошо, хорошо, я пойду, – ответил Андрей Иванович, – только вы уж попросите царевну, чтобы она за меня заступилась, если князь будет сердиться.

И Андрей Иванович Остерман вышел из комнаты.

– Какой добрый этот Андрей Иванович, – оживленно заговорил император, обращаясь к сестре. – Вот если бы он всем распоряжался, не такая была бы наша жизнь! Он бы не стал меня мучить и разлучать с тобой, сестрица.

– Да, Андрей Иванович – добрый человек, он нас душевно любит, я ему верю, – задумчиво проговорила царевна, – а князю не верю. Я боюсь его и знаю, что он нас не любит.

– Видела ты сегодня княжну, мою невесту? – злобно сверкнув глазами, спросил Петр.

– Да, я сейчас встретила с нею. Она было хотела идти за мною сюда, да ее позвали.

– Вот еще невидаль! Поговорить не дадут как следует. Знаешь что, сестрица? Сначала еще ничего было, а теперь просто мне противно глядеть на нее – на эту мою невесту! Посмотри, какое у нее длинное лицо, как есть у Александра Данилыча; все мне так и кажется, что это он передо мною, когда я говорю с ней...

Царевна ничего не отвечала и грустно глядела своими большими глазами, не мигая. Она вздохнула, но все же ничего не сказала.

– Наташенька, что же это такое? Я вот сегодня ночью проснулся, все думал: как же это будет, какая же это невеста, когда она мне противна, и я... не глядел бы на нее никогда... Ах, зачем, зачем умерла бабушка! Она была добрая, я все бы сказал ей! Может быть, она и не дала бы меня в обиду.

– Да ведь все это, Петруша, было еще при бабушке решено; разве ты не помнишь, как она слушалась Александра Данилыча?

– Да, слушать-то слушалась, а только я знаю, что меня все же бы в обиду не дала. Бабушка, когда надо, за себя и за нас постоять умела!

Но на этот раз, видно, не суждено было маленькому императору по душе поговорить с любимой сестрой. Дверь снова отворилась, и в комнату вбежала раскрасневшаяся и запыхавшаяся девушка лет семнадцати.

Петр кинулся к ней навстречу и остановился перед нею весь красный, сияющий лучезарной улыбкой. Он несколько мгновений даже не мог сказать ни слова и только смотрел на вошедшую. Да и действительно было на что смотреть. Эта девушка была в полном смысле слова

красавица: высокая, полная, стройная, с роскошными темно-золотистыми волосами, живыми голубыми глазами и ослепляющей улыбкой на румянном, нежном лице, она производила впечатление светлого дня, живой, радостной жизни. Казалось, что она улыбалась всем существом своим, и эта прелестная улыбка не могла изгладиться из памяти раз взглянувшего на нее.

– Тетушка, дорогая, спасибо, что заглянула, – наконец проговорил Петр, кладя свои нежные белые руки на плечи девушки и крепко ее целуя.

– Ай-ай, племянничек, ты опять так больно целуешься, того и гляди кровь из губ пойдет! Сказала, что за уши буду драть, если станешь так целоваться...

И цесаревна Елизавета Петровна взяла хорошенького племянника за ухо и стиснула так изрядно, что он даже сделал непритворную гримасу от боли.

– Чай, все ленишься, – снова заговорила она, – небось гулять хочется! Посадили молодца на веревочку, а день-то, день-то какой, боже мой, так вот петь и хочется!.. Встретила я твоего зверя-цербера, едет себе и ни на кого не смотрит.

Тут она сейчас же и представила, как едет зверь-цербер. И Петр, и царевна Наталья не могли не разразиться неудержимым хохотом.

Под зверем-цербером подразумевался, конечно, князь Александр Данилович, и цесаревна Елизавета из своего прелестного лица сумела мгновенно сделать живое подобие его сухой и горделивой фигуры.

– Что это ты тут подделываешь? – сказала Елизавета, подбежав к рабочему столу императора. – Цифирь все да глупые фигурки... Видно, умны твои учителя, да не очень, зачем тебе все это? Да вот погоди, постой, разом тебе все это запачкаю.

– Ай-ай, не трогай, Лизанька, что ты это, ведь мне же уже достанется!

Но цесаревна не слушала. Она схватила карандаш и рядом с какой-то геометрической фигурой в мгновение ока нарисовала карикатуру.

Петр и цесаревна Наталья взглянули и опять залились громким смехом: в карикатуре они узнали того же зверя-цербера.

Но Петр скоро прекратил свой смех и, даже побледнев немного, принялся тщательно вычеркивать карикатуру.

– Что, если бы увидел, что, если б! – озабоченно шептал он. – Тогда, пожалуй, прощай и Петергоф, да и вас ко мне пускать не стали бы.

– Ну, желала бы я посмотреть, кто бы меня не пустил! – сказала Елизавета с презрительной миной. – А знаете? Вот вам Христос, что я сегодня зверю-церберу на улице язык высунула. Видел или нет, я не знаю, а только высунула!

– Ведь ты бесстрашная, Лиза, – заметила царевна Наталья, – только не знаю, хорошо ли это; как бы за такие твои поступки для тебя же худо не вышло.

– Да, – озабоченно проговорил и Петр, – вот мы тут смеемся и думаем, что никто нас не слышит, а того и жди, у двери чье-нибудь ухо – я уж не раз замечал, что меня подслушивают.

Елизавета подкралась к двери, быстро ее отворила, но там никого не было.

Еще несколько минут продолжалась оживленная беседа в рабочей комнате императора. Цесаревна перебрала и пересмотрела все предметы, каждую книжку, каждую тетрадь и сопровождала этот осмотр своими веселыми шутками, гримасками и передразниваниями. То изображала она какого-нибудь учителя, то вдруг заговорила голосом Остермана, копировала его жесты и манеры, да так удивительно, что сам он, войдя в комнату и застав ее врасплох, не мог не улыбнуться.

– Вот вы чем тут занимаетесь, ай, принцесса, и вам не грех подымать на смех вашего верного слугу! Только все равно я буду просить вас прекратить эти шутки, не обиды ради, я не обидчив, а потому, что сам князь Александр Данилыч вернулся и сюда шествовать изволит.

Елизавета мгновенно притихла, а у Петра даже лицо вытянулось.

Меншиков не заставил себя долго ждать. Медленной, важной походкой вошел он в комнату.

Друг Данилыч, дитя сердца Петрова, уже значительно изменился и постарел в это время. Его сухое лицо приняло выражение необыкновенной надменности, ему уже не перед кем было склоняться, заискивать и извертываться. При взгляде на него сразу можно было заметить, что это человек, научившийся повелевать и властвовать, не видящий перед собой никакой преграды.

Неприятным, пронзительным взглядом оглядел он присутствовавших.

– А я чаял, что ты за делом, Ваше Величество, – проговорил он, положив свою сухую, жилистую руку на плечо императора, – по расписанию-то теперь урок математики. Где же учитель?

Петр вспыхнул и опустил глаза. Рука Меншикова давила его как пудовая тяжесть, и он не находил слов, чтобы отвечать ему.

– Чего же ты смотришь, Андрей Иванович, – обратился Меншиков к Остерману, – нельзя потакать лени. Эх, деда-то нету, он бы эту лень дубинкой выгнал отсюда!

Цесаревна Елизавета уже давно вертелась на месте, очевидно, желая вернуть свое слово.

– Да не ворчи, не ворчи, князь, – наконец засмеялась она, думая взять шуткой и лаской, – тут виноват не Петруша, а вот мы с царевной Натальей. Ну а на нас не поднялась бы и отцовская дубинка.

Меншиков кисло улыбнулся.

– С вас взять нечего, – сказал он, – я от вас отступился, а за него и людям и Богу ответ отдать должен.

– Да я и так сегодня много учился, – прошептал Петр, – вот сестрица говорит: день сегодня такой славный, погулять бы хотелось...

– Погулять, все гулять, – ворчал Меншиков, – еще успеешь, Ваше Величество, в Петергофе нагуляться. А в последние-то дни не мешало бы хорошенько поучиться.

– Да ведь он и говорит, что с утра занимался, – тихим голосом сказала Наталья Алексеевна, – я за работой его и застала. Будьте ласковы, князь, отпустите его покататься с нами.

– Всему свое время, царевна, – наставительным тоном заметил Меншиков. – Не хочу огорчать вас, но просьбу вашу не исполню. Андрей Иванович, позови учителя. А вас, царевны, мои дочери ждут.

Он указал им рукой на дверь с таким жестом, который исключал всякую возможность сопротивления.

Все вышли, и Меншиков остался с глазу на глаз с императором.

– Ну, покажи, что ты тут делал? – обратился он к нему. – Готов урок?

Он наклонился к столу и стал разглядывать исчерченный лист бумаги.

– Это что? Только-то? Да что тут такое, кто тут напачкал? Что зачеркнуто?

– Ничего... это так... я ошибся, – прошептал Петр.

– То-то ошибся, без моего ведома и разрешения всех пускают в учебное время... Смотри, государь, учись хорошенько сегодня, я всю правду от учителя узнаю.

И, не взглянув на Петра, своими тяжелыми, мерными шагами Меншиков вышел из комнаты.

Крупные слезы показались на светлых глазах юного императора.

– Что же это такое, – шептал он сам с собою, – что ни день, то он лютеет становится. Неужели так-таки никогда я от него и не избавлюсь? Правду говорила Лиза – суший зверь-цербер... Ах, Лиза, Лиза!..

Петр положил голову на руку и задумался. Слезы, едва показавшиеся на глазах его, уже высохли, все хорошенькое лицо его улыбалось, и он глубже и глубже погружался в какие-то радостные, одному ему ведомые мысли.

Наконец голос вошедшего учителя вывел его из раздумья.

## II

На половине меншиковского дома, занимаемой княгиней и княжнами, было несравненно больше движения, чем в апартаментах императора. Сюда, обыкновенно с утра, стекались все сановники и их семейства, чтобы показаться и заявить свою преданность царской невесте.

Дом Меншикова был в то время самым роскошным домом петровского «парадиза», и на его отделку князь не пожалел денег. Вообще Данилыч не отличался скупостью, и его огромное состояние, возраставшее с каждым годом и добывавшееся самыми незаконными путями, позволяло эту роскошь. Теперь же, в последнее время, когда дочь его уже была обрученной невестой императора и на содержание ее из казны отпускалась знатная сумма, ему даже необходимо было сделать из своего дома настоящий дворец.

Царевны, проходя из рабочей комнаты императора, то и дело встречали придворных мужчин и дам, которые почтительно с ними раскланивались.

Скоро нагнал их и Меншиков и провел в дальнюю комнату, где находилось его семейство.

Княгиня Дарья Михайловна всеми своими силами старалась избегать в последнее время придворного шума. Очень часто не выходила она по целым дням из своих покоев, звала к себе дочерей и не впускала посторонних. Она и теперь сидела за какой-то работой и тихо беседовала с княжнами. Сразу можно было заметить, что любимицей ее была не царская невеста, а младшая княжна, Александра. Оно было и понятно: необыкновенная разница замечалась между двумя сестрами. Княжна Мария, как уже сказал Петр в разговоре с сестрою, была похожа на отца: высокая, сухая, с резкими чертами лица, с нахмуренным взглядом. Она редко смеялась, была постоянно сосредоточенна и угрюма и не умела ласкаться даже к матери. Младшая, напротив, была очень живая, миловидная девушка; к тому же теперь ей особенно не следовало печалиться: она была уже почти просватана за принца Ангальт-Дессауского, который ей сильно нравился. И вот она передавала матери свой последний разговор с ним и детски наивно восхищалась всеми комплиментами, которые он расточал ей. Княгиня Дарья Михайловна с доброй материнской улыбкой покачивала головою и радовалась на свое любимое детище.

– А я вот не могу похвастаться комплиментами моего жениха, – проговорила княжна Мария.

– Что же, Машенька, тебе и пождать можно, еще будет время – государь, я чаю, и комплиментов говорить еще не умеет.

– Ну, об этом надо спросить у принцессы Елизаветы, – язвительным тоном заметила царская невеста, – для нее у него откуда и слова берутся.

Княгиня опустила глаза и печально задумалась.

– Эх, неладно! – шепнули ее губы.

– Да уж так неладно, что и сказать нельзя, – вдруг оживленно заговорила Мария, – никакого добра не выйдет. С каждым днем виднее, что ждет нас только погибель, а батюшка ничего не видит, куда и разум его девался! Был у меня жених – человек мне по сердцу, – выдать бы за него, так не знала бы я никакой печали; нет, царицей захотели сделать! Ну а коли не сделаете? Коли вконец меня погубите, кто ж виноват будет?

– Вот ты всегда так, – сказала княгиня, – видно, никогда от тебя радости не дожидаться. О ком же отец-то хлопочет, о тебе ведь!

– Совсем не обо мне, – вспыхнув, ответила княжна, – совсем не обо мне, а о себе только! Ему нужно властвовать, а обо мне он и не помышляет, думает – на его век хватит, а там, без него, пускай я разведываюсь, как знаю. Что ж, разве у меня глаз нет, разве я не вижу, что императору на меня и глядеть противно. Теперь он еще мал, не знает своей силы, а когда вырастет, так ждать мне душной монастырской кельи, если и еще того не хуже – пример не первый!..

Княжна замолчала и заходила по комнате в волнении.

Что могла ей ответить мать? Бедная княгиня и сама все хорошо понимала; она видела, что ее Данилыч занесся так высоко, что многого и сообразить теперь не может. Она сама себе тысячу раз повторяла то, что теперь слышала от дочери. По ночам не спала княгиня: все думала да молилась, страшные сны преследовали ее. Просыпаясь утром, каждый раз ей казалось, что это последний день их счастья; мучительные предчувствия давили ее, и нигде не находила она себе от них покоя. Ей было тошно смотреть на эти улыбавшиеся лица придворных, на их лести и униженные заискивания. Ей часто вспоминались прежние, лучшие годы, привольная жизнь в Москве с сестрой Варварой, с сестрами Меншикова, с будущей императрицей Екатериной I. Как хорошо было тогда, как весело. Не знали они кручины, жили себе припеваючи, о завтрашнем дне не думая. Наезжал к ним частенько с неизменным своим Данилычем Петр Алексеевич; входил он шутливый и радостный. Пир у них шел горою, когда наезжали веселые гости; а уедут, собирались они все и придумывали шутливые письма к Петру Алексеевичу. Помнила она, как всегда подписывалась под этими письмами: «Дарья глупая». Да и потом хорошо было: Катериночка сделалась великой императрицей, доброй и ласковой и никогда не забывавшей старинной дружбы. Всегда был княгине до нее свободный доступ, всегда они вместе толковали о делах своих, поверяли друг другу свои радости и печали. Много тоже и напастей извела княгиня Дарья Михайловна: бывало, уж очень зарвется Александр Данилыч, натащит себе незаконными путями кучу денег, и дойдет это дело до императора; смотрит, молчит император, покрывает своего Данилыча, да наконец и невтерпеж ему станет. Бывали дни, что на волоске висел Данилыч, но и тут вечной заступницей являлась Екатерина. Поплачет перед нею Дарьюшка – и смотришь: на другой день всякая беда миновала. А вот теперь это житье старое, эти милые воспоминания отошли далеко, как будто их и совсем не было. Вся знать, весь двор толпится вокруг княгини, в церквах возглашают ее дочь государыней, да не на радость все это. Придет беда – кто заступится? В могиле и Петр Алексеевич, и добрая подруга Екатерина. Ненависть людская, страшная ненависть скрывается под улыбками и лстивыми речами окружающих. Один толчок, один миг – и в прах разлетится все это безумное величие! Темно и страшно на душе у княгини Дарьи Михайловны, с грустью смотрит она на своих девочек.

У дверей послышались шаги. Княгиня встрепенулась и должна была насильно заставить себя весело улыбаться и радушно встретить двух царевен. Да что же? Она ведь их искренно и любила. Одна из них была дочерью ее сердечного друга, а великая княжна Наталья всех побеждала своим милым видом.

– В добром ли здоровье, мои ясочки? – обратилась к ним княгиня.

– Здоровы-то здоровы, – ответила Елизавета, – только уж очень жарко нынче – в лес хочется. Когда же мы в Петергоф переезжаем, Александр Данилыч?

– Там все уже готово, – сказал Меншиков, – на этой неделе переберетесь.

– То-то, поскорее бы! Да заступись хоть ты, Дарья Михайловна, за императора, – совсем князь его у нас замучил!

Дарья Михайловна только рукой махнула, показывая этим, что не ее это дело.

Великая княжна Наталья уселась с Александрой Александровной и дружески с ней шепталась.

Княжна Мария даже и не старалась казаться любезной. Она села в угол, потупила свои глаза и, очевидно, не хотела принимать никакого участия в разговоре.

– Что так сурова, государыня? – с ясной улыбкой, несколько маскировавшей насмешливость тона, обратилась к ней Елизавета. – Не годится так хмуриться невесте. Женихи хмурых невест не любят.

При этих словах у Александра Даниловича даже рот скосился.

«Эх, подальше бы эту егозу, да поскорей!» – думал он.

– А что же, цесаревна, – взглянув на нее, сказал он, – подумала ли ты, о чем я вам вчера докладывал?

– Нет, не подумала, да и думать мне не о чем: неподходящее это дело.

– Что же, разве мой жених плох? Чем вам не пара принц прусский?

– А хотя бы тем, что он прусский, а не русский! – живо перебила Елизавета. – Я хорошо знаю, что иные люди желали бы меня подальше отсюда спровадить, да я-то уезжать не намерена. Я с тоски умру на чужой стороне – вот сестрица Анна как в письме плачется.

И веселое лицо Елизаветы мгновенно отуманилось искренней печалью: теперь она была не похожа на всегдашнюю беззаботную девушку. Даже краска сбежала с ее нежных щек, и она тихо говорила, едва подавляя слезы:

– Не ищи мне женихов, князь, все равно теперь не выйду замуж. Был жених – так Бог его к себе взял, да и не время о женихах думать, когда чуть не вчера еще матушка в гроб легла.

Тут цесаревна не могла совладать с собою и залилась горькими слезами.

Все притихли, а княгиня Дарья Михайловна подошла к Елизавете, обняла ее и сама искренно заплакала. Только одна царская невеста сидела в своем углу с безжизненным лицом, и понять нельзя было, о чем она думала в эту минуту.

Но слезы и печаль Елизаветы длились недолго. Вот она опять улыбнулась, заговорила шутя и весело и под конец сумела даже оживить Александра Данилыча, который на мгновение позабыл и свои страхи, и свое в последнее время все возрастающее злое к ней чувство.

– Ну, князь, как хотите, а теперь я вас не послушаюсь, – вдруг обратилась к Меншикову великая княжна Наталья, – теперь уж пора отдохнуть братцу. Я думаю, он кончил свои уроки, пойду и приведу его сюда.

Меншиков ничего не ответил, и Наталья выбежала из комнаты.

В дверях Петра она действительно столкнулась с уходящим учителем.

– Кончил, ну и слава богу, – обратилась она к брату, – а я тебе, Петруша, пришла одну вещь сказать. Давеча Лиза помешала, а сказать нужно.

– Что такое? – живо спросил Петр.

– А вот что, братец, ты хотел мне подарок сделать.

– Да, наконец! – улыбнулся Петр. – А уж я думал, Наташенька, что ты и не поблаговаришь меня за мой подарок; я всегда о тебе думаю. Что же, хорошо я придумал? Каковы червонцы? И все-то блестят, все новые. И целых их девять тысяч! Это мне поднес их цех наших каменщиков. Я сейчас же о тебе вспомнил и послал с ними к тебе Долгорукого. Что же – хороши червонцы?

– Верно, хороши, да я-то их не видала, братец...

– Как не видала? Что это значит?

– А то, что Долгорукий пришел ко мне, а их не принес.

Петр поднялся, и светлые глаза его загорелись гневом.

– Это что? Это что такое?... И Долгорукий смеет...

– Перестань, перестань, не вини Долгорукого, не он тому причина, а вот что я хочу тебе сказать: несет князь Иван ко мне твой подарочек, и встретиться ему Александр Данилыч... Александр Данилыч и спрашивает: «Что это ты несешь?» Тот рассказал ему: «Так и так», а Александр Данилыч и отобрал у него весь мешок. Велел ему сейчас же при себе отнести деньги в свой кабинет и говорит: «Император еще очень молод, не умеет распоряжаться деньгами как следует; пригодятся на нужное дело». Вот князь Иван пришел ко мне, да и рассказал все это.

Петр заходил по комнате большими шагами.

– Что же это наконец такое? – раздражительно говорил он, то краснея, то бледнея. – Что же, уж он мне совсем руки связывает! Я даже не могу своим добром распоряжаться, не могу сестре подарок сделать! На что же это наконец похоже? Какой я император? Вот он после вас со мною так говорил... так говорил, что, будь моя воля, я бы его далеко куда-нибудь упрятал!..

– А разве у тебя нет своей воли? – тихо проговорила царевна. – Когда была жива бабушка – другое было дело, а теперь ведь ты в самом деле, Петя, император – подумай об этом! Не могу я видеть, сердце сжимается, как Меншиков мудрит тобою, и повторяю я, что не верю его любви к нам. Конечно, ты еще не взрослый и должен учиться, и много учиться, и умных людей слушаться, да будто, кроме Александра Данилыча, у нас умных людей нет?! Был он, может, умный, да из ума теперь выживать стал. Не ты теперь император, а он. Ты говорил, нет у тебя воли, а скажи себе: есть у меня воля, вот она и будет! Только в дурное что не клади ее. А Меншиков всем нам обидчик.

Петр остановился и жадно вслушивался в слова сестры. С ним, очевидно, совершался какой-то переворот. До сегодня, несмотря на все, что случилось в последние месяцы, он все еще невольно считал себя ребенком, подначальным и детски боялся Меншикова. Тяготясь его властью над собою, он все же никак не мог себе представить, что есть какой-нибудь способ по собственному желанию выбиться из-под этой власти. И вдруг сестрица говорит, что только стоит сказать себе, что «есть воля», – и она будет. И сестрица права! Она умна, она все знает и все понимает; сестрица очень умна! Вон еще недавно барон Андрей Иванович говорил, что такой умной принцессы на всем свете сыскать невозможно.

Не будь истории с девятью тысячами червонцев, быть может, еще долго не пришли бы такие мысли детям Алексея; но раз они явились, так уж не уйдут, наверно.

– Пойдем, пойдем! – вдруг заговорил Петр, схватывая сестру за руку. – Пойдем, я покажу Меншикову, что я не ребенок, я покажу ему! Пойдем, пойдем...

И он повлек царевну Наталью за руку в апартаменты князя.

Многочисленные гости, встречавшиеся им в каждой комнате, с изумлением видели, что он совершенно расстроен и спешит куда-то, не отпуская сестру.

Шепот пошел по комнатам: никто не понимал, в чем дело, но каждый интересовался в высшей степени и строил всевозможные предположения.

Уж не пожаловалась ли она на Меншикова, вот бы хорошо было!

Император и Наталья почти вбежали в комнату, где еще находились все Меншиковы в сборе и с цесаревной Елизаветой.

– Александр Данилыч, – прямо обратился Петр к князю. – Я послал сестре девять тысяч червонцев, а ты их отнял и запер. Как смеешь ты мешать моим приказаниям?

Мальчик весь дрожал, говоря это, и со злобой глядел на князя.

Тот совершенно растерялся, не мог произнести ни слова, как будто обеспамятел, и машинально опустился на кресло. Он никак не ожидал подобного вопроса от покорного и боязливоего до сих пор ребенка. Если б кто-нибудь еще за час предсказал ему эту сцену, он никогда бы не поверил, что она возможна. Но ведь уши его не обманывают! Вот он стоит перед ним, этот мальчик, и говорит ему: «Как ты смеешь!» – и глядит на него с гневом, блесит перед ним своими глазами. До сих пор Меншикову никогда и в голову не приходило взглянуть на Петра как на императора, опасаться за свое над ним влияние, но теперь перед ним был император. И этот император обращался к нему как к подданному, заслужившему царский гнев и немилость.

Князь все молчал.

Дарья Михайловна побледнела. Младшая княжна инстинктивно бросилась к матери и заплакала. Цесаревна Елизавета с восторгом глядела на Петра, и вся ее фигура выражала торжество и радость. Одна только царская невеста продолжала молча сидеть, ни на что не обращая внимания.

А Петр все ждал ответа, и Александр Данилович наконец очнулся. Он заговорил так, как еще никогда не говорил с императором, заговорил робким голосом подданного.

– Ваше Величество, – сказал он, – государство нуждается в деньгах; казна истощена; неотложных нужд много, и я подумал, что этим деньгам можно найти хорошее употребление. Я уже сегодня утром хотел представить вам проект, на что употребить эти деньги.



– Хорошо, хорошо, – отвечал Петр, – все это, может, и правда, что ты говоришь мне. Да если я дарю моей сестре, если я хочу, чтобы так было, так оно и будет! И ты не смеешь изменять моих приказаний! Сейчас же изволь послать эти деньги великой княжне Наталье.

С этими словами маленький император круто повернулся и, ни на кого не взглянув, вышел из комнаты.

Опомнившись, Меншиков побежал за ним и должен был бежать долго, потому что Петр не останавливался и не обращал на него внимания. Наконец Александру Даниловичу удалось поймать его за руку, он отвел его в пустую комнату и стал ласковым, вкрадчивым голосом говорить:

– Ну за что ты обидел старика, Ваше Величество? Я не хотел нанести ни тебе, ни великой княжне обиды. Как на детей своих смотрю я на вас.

– Какие мы тебе дети! – сказал Петр, выдернув у него свою руку.

Меншиков побледнел и затрясся. В тоне голоса нареченного зятя ему послышалась одна знакомая нота. Из-за юной и нежной фигуры второго императора вдруг, неведомо каким образом, выглянул громадный образ Первого, и старый Данилыч, еще сейчас не ведавший границ своей власти, вдруг почувствовал себя таким же бессильным, каким бывал во время оно, когда сгибался под гневом и грозными речами своего повелителя и друга.

– Ваше Величество, – снова шептал он, – прости меня, но вина моя была без умысла. Вперед во всем с тобою совещаться стану, но опять повторяю, что и сам ты должен подумать о делах государства, должен знать, что часто добрый царь жертвует своими желаниями нуждам своего народа. Если же что и противное тебе делаю, так для твоей же пользы, для того, что хочу, чтобы достойным ты был преемником Петру Великому. И дед твой любил дарить своих близких, но только не тогда, когда подарок его мог пригодиться на пользу России. Прости же меня. Деньги верну царевне немедля, а Вашему Величеству теперь не мешало бы покататься, благо уроки все кончены.

– Скоро ли мы переедем в Петергоф? – вдруг обратился Петр с просветлевшим лицом. Его гнев мгновенно прошел; он еще не привык к таким сценам и при первом намеке на предстоявшее удовольствие готов был забыть всякую неприятность.

– Когда хочешь, – ответил Меншиков, – хоть завтра переезжайте.

– Ну, завтра так завтра, и слышишь, князь, непременно чтобы завтра. Мне очень хочется в Петергоф, слышишь – завтра!

Гора с плеч свалилась у Александра Даниловича.

Он взял императора под руку и, ласково с ним разговаривая, как будто ничего не было между ними, нарочно тихо прошел вплоть до комнат жены. И все придворные опять стали перешептываться и перемигиваться и с сожалением соображали, что Данилыч совсем помирился с императором и что нелегко их посорить.

### III

Царевны занимали дворец, остатки которого до сих пор еще существуют в конце Летнего сада. Это был небольшой и совсем не роскошный дом, несравненно проще убранный, чем дом князя Меншикова, только кругом него во все стороны шел превосходный сад, заключавший в себе теперешний Летний, Царицын луг и Михайловский сад.

Вернувшись домой после катания с императором, великая княжна Наталья велела позвать к себе барона Остермана. Он не замедлил явиться.

– Что прикажете, принцесса? – ласково глядя на нее, спросил Андрей Иванович.

– Садитесь, мне многое нужно сказать вам, – отвечала Наталья, указывая ему кресло.

Барон сел и все с тою же ласковой улыбкой приготовился слушать.

– Вот вы ушли, а после вас случились самые неожиданные вещи, – начала Наталья.

– Я уж кое-что слышал, – ответил Андрей Иванович.

– Откуда? Кто же мог вам сказать? Да, впрочем, и спрашивать нечего, вы всегда все знаете. Ну, так что же вы знаете, что вы слышали?

– На этот раз немного. Я знаю только, что была ссора у императора с князем Меншиковым и что вы, принцесса, тому причиной.

– Да, я действительно была тому причиной.

И она рассказала Остерману во всех подробностях утреннее дело.

Он внимательно ее слушал и одобрительно кивал.

– Это хорошо, хорошо, – наконец заговорил он, – только все же бы лучше было, если бы начать осторожнее. Ведь я говорил вам, принцесса, что дела большие всегда нужно осторожно делать и медленно, этак прочнее выходит.

– Ну да ведь тоже говорят, что нужно ковать железо, пока горячо! – заметила Наталья.

Остерман стал опять ее расспрашивать; ему особенно интересны были подробности о том, как вел себя Меншиков, и, слушая рассказ о его смущении, о его почтительности и трепете, Андрей Иванович с нескрываемым удовольствием потирал свои пухлые руки.

«Хорошо, хорошо! – думал он. – Авось и выйдет что-нибудь. Только бы я был в стороне, только бы меня как-нибудь не замешали...»

– Ну а теперь они как же, – спросил он великую княжну, – помирились?

– Да, помирились, только я ручаюсь вам, что брат совсем уж другой стал и никогда сегоднешнего дня не забудет. До сегодня он был ребенок, а теперь – император, уверяю вас, милый Андрей Иванович.

Она ласково поглядела на Остермана и протянула ему руку.

Тот почтительно поцеловал эту маленькую ручку и глядел на великую княжну в полном восторге. Он видел ясно, что семя, им посеянное, попало на добрую почву. Ведь он сам направлял постоянно ее мысли в последнее время, он знал всю силу своего влияния над нею, а вот теперь сказываются и плоды этого влияния. Да, он не ошибся – так именно и надо было действовать: никто лучше сестры не мог направлять маленького императора, а сестрой руководить до конца будет он, Андрей Иванович.

– Завтра мы переезжаем в Петергоф, – весело объявила царевна, – а Александр Данилыч в свой Ранбов едет; будет не в пример свободней, и много можно за это время сделать.

– Ух, как много! – серьезно проговорил Остерман. – Только помните, принцесса, что все же осторожность не мешает.

– Помню, помню, я никогда не забываю ваших советов, Андрей Иванович. Да, поскорей бы в Петергоф, – вдруг тихо и как-то печально продолжала она, – мне что-то нехорошо здесь. Даже и в саду моем воздуху как будто мало, душно что-то и опять кашель... Вчера почти всю ночь не спала, а теперь так устала, так устала...

Остерман взглянул на ее бледное лицо и невольно смутился; он уже не в первый раз замечал в ней это печальное выражение; она точно была нездорова.

– Прощайте, Андрей Иванович, попробую заснуть, – прошептала царевна, протягивая ему руку.

Он тихо вышел из комнаты.

Наталья позвала свою фрейлину, прошла с ней в спальню и стала раздеваться. Скоро она осталась одна, отворила окно и села перед ним в раздумье. Ночь была душная, в далеких кустах заливался один из последних соловьев, и странно было слышать в недавнем болоте его песни. Но это был настоящий соловей: сын или внук одного из тех, которых Петр Великий выписывал из южных губерний для своего «парадиза».

Царевна Наталья смотрела в светлое северное небо, и все грустнее и тоскливее делалось на душе ее. С некоторого времени она стала очень задумчива: переход от беззаботного детства в ней совершился неожиданно и быстро. Еще так недавно она была настоящим ребенком, ни о чем не заботилась и ничем не смущалась; ей хорошо было под крылышком доброй, хотя и не родной бабушки. Вспоминала она теперь и великого деда, его редкие, своеобразные и тем еще более дорогие ласки. И вот как скоро, как быстро всего этого уже нет, – что-то будет? В уставшей и склоненной на руки голове царевны бродило множество разных тревожных мыслей: она все думала и думала о своем любимом, единственном брате, думала о том, что, несмотря на весь блеск их положения, все же они бедные дети, сироты, не помнящие ни отца, ни матери, без добрых родных, окруженные людьми, которым невозможно довериться. Один только и есть человек – Андрей Иванович, – верит ему сердце, а все же подчас и при нем берет сомнение... Хитер больно Андрей Иванович, не разберешь иной раз, что у него в мыслях, а глаза смотрят по сторонам, ничего не выдавая. Большое дело задумала царевна.

Она решила, во что бы то ни стало, так или иначе, избавить императора от ненавистных Меншиковых, да удастся ли это? А коли и удастся, будет ли лучше? Не Меншиковы – найдутся другие, вот хоть бы Лиза. Брат на нее просто молится. Лиза добрая, милая, но ведь и она хитрая... Впрочем, о Лизе Наталья не могла думать хладнокровно. Еще недавно она так любила свою красавицу тетюшку, а теперь какая-то черная кошка пробежала между ними, и все ищет царевна чего-нибудь дурного в Елизавете, все старается объяснить в темную сторону. Отчего бы это? Лиза всегда так ласкова с нею, любит ее по-прежнему... но что-то такое случилось – и тянет ее от красавицы Лизы. Великая княжна еще не совсем сознавала свое чувство, а уже оно сильно развилось в ней – это была ревность! Это был страх за свое влияние над братом, за братнюю любовь к ней. Но и не одна Лиза смущала бедную царевну. В последнее время она замечала, что юный император очень сдружился с молодым Долгоруким. И мало проку видела она от этой дружбы. Долгорукий – краснбай, шутник, вот еще недавно она узнала, что он ведет беспутную жизнь, даже, кажется, пить начал, ну как тому же научит Петрушу, ведь это будет, пожалуй, еще хуже Меншикова!

– Да нет, не дам я им погубить его, – вдруг, вся в волнении и сверкнув глазами, сказала себе царевна. – Покуда я с ним, он ни на кого меня не променяет, я перед Богом поклялась стоять за него и быть ему матерью, отгонять от него все злое – и должна я исполнить эту клятву! Я никому не отдам его, я всю себя положу в него, я уничтожу Меншиковых, я уничтожу Долгоруких. Пусть и она поборется со мною – увидим, кто сильнее... никому, никому не отдам я его!

Царевна поднялась в волнении и вся дрожала. Вдруг она схватила за бок, холодные капли пота показались на лбу ее, и она слабо закашляла. Бессильно опустилась она в кресло, и крупные слезы полились из глаз ее.

– Не отдам, не отдам... а если меня возьмут от него – не люди, а Бог?.. Если умру – что тогда?.. А мне все теперь начинает казаться, что умру я скоро...

И долго она сидела перед открытым окошком, и все плакала, и все думала, и никто не знал, что творится в юной душе ее.

## IV

Двор переехал в Петергоф. Петр в сопровождении молодого Долгорукого, цесаревны Елизаветы и сестры объездил знакомые места и был в самом лучшем настроении духа. Он был доволен всеми сделанными предположениями и уже строил планы, как они будут охотиться и веселиться. Петергоф в то время был совсем не тот, что теперь. Царский дворец, хотя и удобно построенный, не представлял ничего особенного. Здесь была собрана еще Петром Великим коллекция картин, но картины эти находились без всякого присмотра и значительно пострадали. Дворцовая мебель была тоже петровская, то есть самая простая. Дворец стоял на том же месте, как и теперь: с его балконов открывался вид на море; внизу били фонтаны; но парк совсем почти не был расчищен, и только в ряду мелких строений для придворных красовались два прелестных домика: Марли и Монплезир...

В Монплезире делались приготовления для разных празднеств. Никто не знал, надолго ли князь Меншиков уехал в Ораниенбаум и когда сюда вернется; но дня через два по переезде двора на летнюю резиденцию все были поражены неожиданной и важной вестью: гонец из Ранбова известил, что светлейший князь Александр Данилович тяжело болен. Гонец привез письмо Меншикова к императору. Оно было написано дрожащей рукою, и в нем светлейший прощался с императором. Это письмо было его завещанием.

Тепло и красноречиво писал он Петру о том, какие для него наступают многотрудные годы, указывал ему его обязанности относительно России – «недостроенной машины», увещевал слушаться Остермана и министров, быть правосудным. В то же время он писал и к членам Верховного совета, поручал им свою семью – одним словом, приготовился действительно умирать.

В первую минуту никто даже и не поверил этому известию, так оно было неожиданно; но княжеский гонец подробно рассказал о болезни светлейшего. Оказалось, что сейчас по приезде в Ораниенбаум он расхворался и теперь лежит в великой слабости и лихорадке и харкает кровью. Не верить было нельзя.

Необычайное волнение поднялось в Петергофе; все ходили друг к другу, все толковали, пожимали плечами, качали головою, изумлялись, ахали, радовались, задавали себе всякие вопросы. Что же теперь будет, коли умрет Александр Данилыч? Хорошо будет от лютого зверя избавиться; поднимутся старинные фамилии: князь Голицын будет иметь первый голос во всех делах. Иным, более рассудительным и дальнозорким, представлялось также, что, несмотря на все это, со смертью Данилыча не будет одного – не будет прежней крепкой силы в правительстве. Император и его близкие радовались всего больше тому, что вместе со смертью Меншикова уничтожится и невеста. Никогда на ней не женится император!

Петр велел снарядить экипаж и, скрепя сердце, поехал вместе с сестрою навестить Меншикова. Он застал его в постели и в плохом виде. Князя действительно била лихорадка. Он стонал и харкал кровью. Теперь он прерывающимся и слабым голосом повторял Петру свои увещания и, когда говорил о своей дочери, – заплакал.

Юный император слушал его молча. Он не жалел князя, ему просто было неловко и хотелось уйти скорей. Он так и сделал: пробыв в Ранбове не больше часа, уехал обратно.

Тяжелое впечатление, произведенное на императора болезнью Меншикова, в тот же день совершенно изгладилось; в Петергофе его ожидала прогулка в обществе всех близких ему людей. Петр велел оседлать себе своего любимого коня; Елизавета, прекрасная наездница, тоже была верхом, царевна Наталья поместилась в коляске с княжной Долгорукой и другой своей фрейлиной, и все они отправились верст за шесть, где в превосходной местности для них был устроен праздник: музыка и роскошный ужин.

Весело было Петру чувствовать себя на свободе. С ним рядом ехала красавица тетушка, и он все на нее любовался. Она была сегодня еще веселее обыкновенного, озаряла всех своей беззаботной улыбкой, веселые ее шутки так и сыпались, передавались из уст в уста и возбуждали искренний смех придворных. К Петру Елизавета была очень ласкова, но все же постоянно сдерживала излишнюю его нежность. Она останавливала его порывы, напоминая о том, что он ребенок, мальчик и что так она на него и смотрит. Его это ужасно сердило и мучило, он изыскивал все способы доказать ей, что она ошибается, что он смелый и ловкий мужчина. Он подзадоривал своего лихого коня, пускал его в галоп, молодецки перепрыгивал через рвы, глаза его сияли оживлением, на щеках выступал румянец. В своем роскошном платье, стройный и изящный, он действительно заставлял на себя любоваться. И принцесса Елизавета любовалась им, она очень любила этого милого, красивого мальчика, но, конечно, никогда не могла смотреть на него иначе, как на ребенка. Она хорошо знала, что еще недавно барон Андрей Иванович подавал проект о необходимости брака между нею и Петром. Она знала, что этот брак имел много хороших сторон, примирял все партии, упрочивал спокойствие государства, но все же сама не могла без смеха об этом подумать. Какой это муж – этот маленький хорошенький племянник? Настоящий жених умер, много близких, дорогих умерло и погибло за последнее время. Так вот иной раз шутит она, смеется, веселится как будто, а вдруг задумается, и тяжело ей станет. Конечно, беззаботный характер берет свое, печаль проходит скоро, зовет жизнь, зовет веселье!

Иногда ей даже думалось, что в конце концов придется-таки взглянуть на Петра как на будущего мужа, по крайней мере придется постараться над этим. Уж очень ненавистно ей было уступить его княжне Меншиковой. Но вот Меншиков болен, умирает, император не любит своей невесты, она ему противна – все уничтожается, и не о чем теперь думать. Ах, как хорошо, как весело!

Принцесса тоже подзадоривает своего коня и мчится вслед за императором, и все придворные смотрят на нее, любясь ее красотой, ее смелостью и природным грациозным величием.

«Воистину она дочь Петрова!» – шепчут иные губы.

А великая княжна Наталья молча и грустно едет в своем тяжелом экипаже, грустно смотрит вдаль, где мелькают фигуры брата и Елизаветы. Ее спутницы не смеют нарушить молчания, видят, что великой княжне не до разговоров. Что с ней, они не знают. Странной какой-то стала она в последнее время. Все те же неотвязные думы преследуют Наталью. Видит она, что с каждым днем усиливается привязанность брата к тетушке Лизе. С утра до вечера они вместе: где он, там и она; где она, там и он. И она хорошо знает о проекте Андрея Ивановича и просто готова возненавидеть своего старого друга за этот ужасный проект, не простит она ему никогда этого!

Вечером, после катания, великая княжна позвала брата к себе и заперла дверь.

– Что ты так скучна, Наташа? – спросил император.

– Ах, нездорова я, Петруша, очень нездорова, да и не одно нездоровье... – печально проговорила она.

– Что такое? Обидел разве тебя кто-нибудь? Скажи только!

– Ты меня обижаешь, братец...

– Чем? Наташенька? Помилуй! Я так люблю тебя, как я мог тебя обидеть?!

– Любишь-то ты меня любишь, – тихо ответила Наталья, – а все Лизу любишь больше меня, я это хорошо вижу.

– Ах, Наташа, – краснея, выговорил Петр, – ах, Наташа, зачем ты мне говоришь это? Лиза никогда тебе помешать не может. Все мое сердце принадлежит тебе, и я люблю тебя как сестру, как мать родную!.. Люблю и Лизу, только то совсем другое дело... Посмотри, какая она

красавица, как ловка, весела, мне так ужасно хорошо и весело с нею... Но никогда, никогда я тебя для нее не забуду!

Великая княжна грустно улыbnулась.

– Забудешь, скоро забудешь! – странным голосом проговорила она и махнула рукою.

Петр подбежал к ней, стал перед ней на колени, прижался к ней головою, обнял ее и глядел так ласково, так любовно и смущенно.

– Петруша, голубчик, – начала Наталья, – если ты очень меня любишь, так послушайся моего совета.

– Я всегда тебя слушаюсь, – заметил император.

– Нет, не всегда; ты не верь Лизе, не верь, она обманщица, она тебя не любит, она только шутит да смеется над тобою, смотрит на тебя как на маленького мальчика, а ты и невесть что думаешь.

Петр поднялся на ноги и вытянулся во весь рост перед сестрой. Лицо его вдруг сделалось серьезным и важным.

– Во-первых, я вовсе не маленький мальчик, – резко выговаривая каждое слово, начал он, – посмотри на меня, какой я мальчик? Потом, сестрица, потом, знаешь ли... ведь вот у меня есть невеста княжна Мария. Она старше Лизы; она в тысячу раз ее хуже, а все же невеста! Ну, этой невесты скоро не будет, мне нужна будет другая, потому что мне никак нельзя без невесты – это говорит и Андрей Иванович, – у императора должна быть невеста! Так скажи мне сама, какую же невесту можно найти мне лучше Лизы? Ведь это еще до смерти бабушки сам Андрей Иванович придумал, а он такой добрый, умный, ученый – он дурного да глупого не придумает.

«Ах, Андрей Иванович, Андрей Иванович, и ты стал хуже врага!» – подумала про себя царевна Наталья.

– Послушай, – обратилась она к брату, – Андрей Иванович умен, да, но только ведь и у умного человека бывает затемнение в рассудке. Хорошо он придумал, а выходит все же совсем дурно. Он немец, Андрей Иванович, а мы русские, православные, он забыл, что грешно жениться на родной тетке: Бог не велит, церковь не разрешает.

– Это пустое! – нахмутив брови, сказал Петр и стал в волнении ходить по комнате. – Это пустое! Ради блага государства, ради неотложной нужды и Бог, и церковь разрешают. Ведь и немцы не идолопоклонники же, а у них такие женитьбы зачастую бывают.

– Нехорошо, нехорошо ты это говоришь, братец, никакой тут нужды неотложной нет, и никакого добра из этого не выйдет. Как перед Богом говорю тебе, выбрось это из мыслей, не думай об этом, не должно этому статься!

Петр молчал несколько мгновений. Наконец он обернулся к сестре.

– Видишь что, Наташа, – твердым голосом сказал он, – ты все это говоришь, потому что тебе кажется, будто я люблю Лизу больше, нежели тебя, и что если б она стала моей женою, так я тебя забыл бы совсем. Но ради Бога, Наташа, не думай об этом... Если б только могло случиться (опять яркая краска залила его щеки), если б было это так, кажется, счастливее меня не было бы на всем свете человека – у меня бы и сестра дорогая, и жена были бы... И никогда Лиза не может мне помешать любить тебя, да и она вовсе не хочет того, она сама тебя любит. Не говори дурного про Лизу; ты такая умная, такая добрая, зачем же ты хочешь злою сделаться, несправедливою? Сама меня учишь быть справедливым, так пример мне покажи. Во всем буду тебя слушаться, все для тебя сделаю, а Лизу не тронь, Лиза сама собою!..

И Петр, нежно поцеловав сестру, вышел от нее. Опять горько и безнадежно заплакала великая княжна Наталья.

## V

Дни проходили за днями – император все веселился. Некому было стеснять его: далеко, в своем Ранбове, лежит на постели больной и умирающий Александр Данилович. Один человек только и остался, который мог бы стеснить веселье, – это Андрей Иванович Остерман. Но Андрей Иванович не стесняет императора; он говорит, что после учения, в летнюю пору, отдохнуть нужно, повеселиться, лишь бы забавы не мешали делу, лишь бы не очень уж долго они протянулись. Следовательно, можно веселиться с чистой совестью: даже Александр Данилович наказывал слушаться Остермана. Другие близкие люди ни в чем не перечат императору. Иван Долгорукий каждый день придумывает новые забавы: то охоту устроит, то катание с музыкой и песнями, то во дворце или под фонтанами машкараду.

Цесаревна Елизавета – душа этого веселья; дни проходят как радостный сон, и только жалко, что скоро так идут они и что времени удержать невозможно. Одной сестрице Наташе не по себе – все грустна она, иногда по целым дням из своих покоев не выходит, но сестрица Наташа нездорова; вот поправится – хорошие доктора ее лечат, – поправится и снова станет веселою.

Каждый день ездят гонцы в Ранбов и из Ранбова. Сначала князю все было хуже, но вдруг полегчало.

– Не умрет еще, поди, чай, выздоровеет – что ему делается! – толкуют придворные.

И действительно, князь выздоровел. Петр было поехал как-то к нему, да на дороге в Ранбов его самого встретил. Несмотря на доброе сердце, не мог не подосадовать император, и если ему тяжело и неловко было смотреть на слабого, умиравшего Меншикова, то теперь на здорового он глядел положительно с враждою.

«Пусть только опять за старое примется, пусть только, – думал он, – я покажу ему, что со мной трудно тягаться!»

Случай показать это скоро представился.

Меншиков едва появился в Петергофе, сейчас же и потребовал отчета во всем, что произошло во время его болезни. Он, очевидно, забыл историю с девятью тысячами червонцев или рассудил, что не стоит придавать ей большого значения, что это только была мимолетная вспышка и от нее ничего не осталось. Он призвал к себе царского камердинера и спросил его, куда истрачены три тысячи рублей, данные для мелких расходов императора. Камердинер начал высчитывать, но недосчитался нескольких сотен и объявил, что выдал их императору по его приказу.

Меншиков разбранил камердинера, прогнал его и велел ему немедленно убираться из Петергофа. Камердинер кинулся к императору, повалился ему в ноги и умолял заступиться за него перед князем. Петр только и желал чего-нибудь подобного и ухватился за возможность показать себя Меншикову. Он призвал его к себе и встретил так, что князь опять почувствовал возвращение своей лихорадки. Все кончилось тем, что камердинер был возвращен.

Дня через два опять повторилась подобная сцена.

Петр потребовал у Меншикова пятьсот червонцев.

– Зачем? – спросил Меншиков.

– Надобно! – резко ответил Петр.

Александр Данилович ничего не возразил и велел выдать червонцы. Петр сейчас же снес их к царевне Наталье в подарок.

– Вот как я его учу, – сказал он ей, – небось теперь он их у тебя не отнимет!

Но каково было изумление императора, когда через час какой-нибудь сестра объявила ему, что Александр Данилович отобрал у нее эти червонцы.

– Где он, где он, этот Меншиков? Подайте мне его сейчас же, где он? – задыхаясь от волнения и гнева, кричал император.

Меншикова не было. Он только что уехал к себе в Ранбов.

Петр хотел было немедленно за ним ехать, но потом рассудил иначе.

– Слишком много для него чести, – сказал он. – Сейчас послать гонца и вернуть его! Сказать ему, что я должен его видеть, чтоб он возвратился немедленно.

Меншиков вернулся в страшном раздражении.

– Что это значит, Ваше Величество, – сказал он, входя к императору, – что ты меня с дороги ворочаешь? Дел важных никаких нет, уезжая, я решил все, а я устарел, чтобы ты так помыкал мною.

– Не я тобой помыкаю, а ты мной помыкать хочешь, – заметил ему Петр. – Ты, верно, забыл, что я говорил тебе, ты забыл, что обещал мне исполнять мои приказания и не перечить моим распоряжениям. Я подарил сестре моей пятьсот червонцев, и ты опять осмелился отнять их, что же это, наконец, такое?

– Но, Ваше Величество, рассуди...

Петр перебил его. Он топнул ногою и, сказав: «Я тебя научу, я тебе покажу, что я император и что мне надобно повиноваться!» – вышел из комнаты.

Он не хотел видеть Меншикова, не хотел о нем слышать. Светлейший не знал, что ему делать. Ему ясно было, что много неладного совершилось во время его болезни: Петр приучился к свободе, к тому же и враги княжеские, очевидно, сумели вооружить его против будущего тестя.

«Ведь что ни человек, то враг мне лютый! – думал Меншиков. – Что же это такое? Ведь этак они в самом деле спихнут меня – беда! И не на кого положиться... Надеялся я, что Остерман за меня... Ведь вот писал он, все писал, что следит за императором, писал, что император радуется моему выздоровлению, – много писал, а может, самый этот Остерман и есть лютейший враг мой! На кого положиться? Вот оно, последнее письмо его... ишь как расписывает... “Вашу высококняжескую светлость всепокорнейше прошу о продлении Вашей высокой милости и, моля Бога о здравии Вашем, пребываю с глубочайшим респектом Вашей великокняжеской светлости всенижайший слуга А. Остерман”. Хорош слуга! Хорош друг! Вот и Петр приписывает: “И я при сем Вашей светлости, и светлейшей княгине, и невесте, и своячице, и тетке, и шурина поклон отдаю любительный. Петр”. Но это небось сам Андрей продиктовал, чтоб глаза отвести мне. Нет, нужно добраться до Остермана, послушать, что-то он скажет, как вывернется!»

Александр Данилович вышел из дворца, спустился с пригорка и направился к домику, занимаемому Остерманом. Барон Андрей Иванович с утра не выходил из своей комнаты. Он знал, какая во дворце идет буря, его жена уже два раза приносила ему оттуда самые свежие вести. А во время бурь и волнений, очень часто им самим приготовленных, Андрей Иванович всегда сидел дома, одержимый всевозможными недугами. Он и теперь сделал вид больного человека: снял парик, надел шлафрок, спустил штору и даже поставил перед своею постелью склянку с каким-то лекарством.

Андрей Иванович занимал маленькое помещение – три бедно меблированные комнаты – и вовсе не позаботился, чтобы их украсить. Не любил он излишней роскоши, да и вообще никаких трат не любил; для него было несравненно приятнее отложить денежку в безопасное место на черный день. К такой же бережливости и скупости приучил он и свою баронессу, которая была ему верным другом, сумела окончательно войти во все интересы и планы мужа и без души его любила.

Баронесса Марфа Ивановна Остерман, урожденная Стрешнева, была сосватана Андрею Ивановичу самим Петром Великим и в несколько лет счастливой семейной жизни как-то даже по внешнему виду совсем превратилась в немецкую фрау.



Теперь она только что вернулась из Большого дворца и шепнула мужу, что сейчас там было крупное объяснение у государя с Меншиковым и что Александр Данилович спешно идет теперь к их домику.

– Поди, поди, поди на кухню! – быстро зашептал Остерман. – Как будто тебя и нету!

Баронесса скрылась, а Андрей Иванович соорудил самую болезненную физиономию, лег на постель, налил себе лекарства, обернул голову мокрым полотенцем и принялся тихо стонать. Через минуту к нему входил Меншиков.

– Валяешься, болен опять, небось помрешь к вечеру? Что-то уж долго ты умираешь, с тех пор как тебя знаю. И все от болезней твоих лютых только распирает тебя во все стороны! – едва сдерживая свой гнев, начал Меншиков едва вошел.

– Болен, болен, ваша высококняжеская милость! – охая и как бы не замечая меншиковского тона, ответил Остерман, искусно выражая на своем лице невыносимые страдания. – Так голова трещит, что еле гляжу на свет божий. Вот окно занавесил, а все глазам больно.

– А небось не больно глазам и не стыдно им смотреть на свет божий, делая всякие непотребные дела? – уже не сдерживая своего гнева, возвысил голос Меншиков.

– Какие такие дела? О чем говорить изволите, ваша высококняжеская милость? Ох-ох! – простонал Остерман.

– Не знает, не понимает, скажи на милость! Андрей, ты смотри у меня, не доводи до последнего, или ты меня не знаешь?

– Ох-ох! Да толком сказывай, ваша высококняжеская милость, ей-богу, ничего не понимаю.

– Ты мне писал это письмо? – вынул Меншиков из кармана пакет.

– Я. Тут вот и приписочка есть императора.

– То-то приписочка, писать-то ты мастер! Все время меня успокаивал, уверял, что император спрашивает про меня, жалеет, желает здоровья. А что вы тут без меня наделали? Ты, я чаю, все дни турчал ему на меня!

– Боже меня сохрани и избави! – вдруг поднял голову с подушки Остерман, в некотором изумлении глядя на Меншикова. – Чтобы я мог... да зачем, скажи на милость? И откуда у тебя такие мысли берутся, ваша высококняжеская милость? Грех тебе! И, главное, одного сообразить не могу, неужто ж вы меня за малого ребенка или за дурака почитаете? Если моему сердечному расположению и респекту к себе не верите, так подумали бы о том, что сам я себе не враг. Кем же я и держусь, как не вами, ваша милость?! Ну, не приведи бог, что с вами, так ведь куда я денусь? Сотрут меня за одно то сотрут, что я с вами в ладах был, никогда не простят этого! Так ведь я все это очень хорошо понимаю, как же могу что-нибудь дурное про вас замыслить! Ох, ох... ишь голова проклятая!

Меншиков молчал в нерешительности.

«Нелегкая его знает, – думал он, – хитрый немец! Или тут взаправду другие руки действовали?!»

Так, в нерешительности и с тяжелым чувством, и вышел князь от Андрея Ивановича.

По его уходе в комнату прокралась баронесса.

– Ну что ж, Андрей Иваныч, ничего, заставил замолчать его! Я все у двери слышала.

– Да как же с ним иначе? – проговорил Остерман, снимая с головы свою повязку. – А ты вот что, мейн герцхен, обожди немного да сходи опять во дворец, узнай, когда он уедет, тогда приди и скажи мне: теперь туда надо – с вечера ведь там не был.

Андрей Иванович достал маленькое складное зеркальце и приготовил себе парик; лекарство снова вылил в склянку и сидел, дожидаясь возвращения жены. Его глаза весело смотрели, головной боли как не бывало.

## VI

Двадцать шестого августа в Петергофе был большой праздник – именины великой княжны Натальи. К этому дню сюда собрались даже все придворные и сановники, остававшиеся в Петербурге. Приготавливались разные празднества. Еще за три дня все убиралось, парк расчищался; у Монплезира готовился большой фейерверк. Еще накануне вечером князь Александр Данилович прибыл из Ораниенбаума со всем своим семейством. Петр хотел особенно весело отпраздновать день именин сестры, и только одно его смущало – она сама. Здоровье великой княжны очень плохо поправлялось; несмотря на хороший воздух, прогулки и лекарства, она все была очень бледна, задумчива, по временам кашляла. Когда Остерман спрашивал ее о здоровье, она печально качала головою и говорила ему:

– Ах, Андрей Иванович, как же мне тут поправиться, когда сердце не на месте. Разве вы не видите, что кругом нас делается? Братец по-прежнему ласков со мною, но все же ни мои советы, ни ваши на него не действуют. Вот он теперь сдружился с Иваном Долгоруким, все на охоте с ним да с цесаревной...

Остерман не находил слов, чтобы отвечать ей на это. Он, конечно, не хуже ее все видел и понимал, но считал невозможным резко вмешиваться в дела императора и отстранить Долгоруких. Теперь одна была цель у барона Андрея Ивановича – уничтожить Меншикова, и он прямо шел к этой цели, забывая все остальное.

Рано утром торжественного дня Петр проснулся и еще в постели велел позвать к себе нового любимца, князя Ивана Долгорукого. Тот не заставил себя ждать. Это был еще очень молодой человек, лет двадцати двух, с неправильным, но довольно приятным лицом и открытыми веселыми глазами. Всегда франтоватый и даже роскошно одетый, умевший, когда надо, держать себя в высшей степени прилично и с тактом, когда надо, совершенно распускаться, понявший характер императора и в короткое время вошедший ему в душу, он, естественно, должен был играть большую роль при Петре. Он был неистощим в придумывании всевозможных развлечений и удовольствий, знал, как надо говорить с юным императором, кого хвалить, кого бранить, а главное, поддакивать и потворствовать всем капризам и желаниям своего нового друга. Петру очень нравилось, что взрослый молодой человек разделяет все его забавы, он сам при этом забывал свои годы и считал себя таким же взрослым молодым человеком. Петр развился необыкновенно быстро, и действительно никак нельзя было принять его за двенадцатилетнего мальчика. Способный и умный от природы, одаренный крепким организмом, он торопился жить и как-то вдруг провел черту, за которою остались его детство и прежний внутренний мир его. Конечно, он еще по-детски относился к забавам, но ведь его забавы были забавами взрослых людей! Он любил охоту, скачки и всякие гимнастические упражнения. Под влиянием Долгорукого он совсем иначе, чем несколько месяцев тому назад, стал смотреть на хорошеньких женщин. Теперь уже он сказал сам себе, что влюблен в принцессу Елизавету, и часто поверял об этой любви другу Долгорукому. Но это не мешало ему замечать и другие хорошенькие лица; ему нравилось, когда молодые девушки с почтительным кокетством относились к нему; ему нравилось слушать рассказы Долгорукого о всевозможных любовных похождениях, и не было никого, кто бы благоразумными рассуждениями и советами в другую сторону направлял его мысли. Остерман знал, что разыгрывать теперь роль воспитателя – значит погубить себя, и благоразумно отстранялся, стараясь только казаться воспитаннику своему добрым, ласковым, всегда снисходительным человеком.

Войдя в спальню императора, князь Иван бесцеремонно сел у самой постели Петра.

– Зачем позвал меня, государь? – спросил он.

– А вот зачем: расскажи мне, что ты придумал насчет вечернего маскарада, какие костюмы?

Долгорукий оживился:

– Да ничего нового не придумал. По-моему, хорошо так, как вчера мы решили. Ты, государь, оденешься Аполлоном, я – Марсом; цесаревна еще не решила, как ей одеться...

– Постой, погоди... Ну а сестра, говорил ты с нею? Согласна она быть Минервой?

– Великая княжна ответила мне, что если на то твоя воля, так она перечить не станет.

– Конечно, конечно, быть ей Минервой. Она как есть Минерва, моя милая Минерва!..

Ну а Меншиковы как будут одеты?

– Про то я не знаю. От меня теперь, государь, отвертываться стали. Вчера едва слова добился от Александра Данилыча.

– Ничего, ничего, пускай себе, тем для них хуже, – самоуверенно проговорил император.

Куда девался его прежний страх и почтение к Данилычу. По совету сестрицы он давно сказал себе, что «есть воля», и она действительно оказалась: Минерва, как и всегда, была права. Петр нетерпеливо дожидался того дня, когда совсем отделается от Меншикова, и решил, что день этот скоро настанет. Иван Долгорукий, часто беседовавший с ним о Меншиковых, каждый раз более и более его подзадоривал. У них еще и вчера было решено во время праздника досаждать Данилычу и его дочери.

– Любопытно, – с улыбкой заметил Петр, – любопытно, как будет одета моя невеста? То-то хороша, чай, будет! Я думаю, такой богини никогда и не бывало; на нее древние не стали бы молиться...

Долгорукий тоже одобрительно улыбался, но не настаивал на продолжении этого разговора.

«Теперь не нужно раздражать императора, – думал он, – дела и так хороши. Меншиков останется доволен сегодняшним днем».

И Меншиков остался доволен.

Ни утром, ни за столом император не обращал на него никакого внимания. Только что Александр Данилович начинал говорить с ним, как Петр поворачивался к нему спиной, не отвечал на его вопросы и делал вид, как будто совсем и нет его здесь.

– Смотрите, – на всю комнату сказал он Голицыну, – разве я не начинаю вразумлять его?

Эти слова облетели всех присутствовавших и достигли до уха светлейшего князя. Была минута, когда раздраженный и доведенный до отчаяния Меншиков просто хотел забрать своих и уехать из Петергофа. Но он одумался. Он понял, что этим ничего не возьмет, и хмурый бродил по дворцу, видя, что дела действительно плохи и что беда висит над его головою. Теперь он готов был на всякие уступки, на что угодно, лишь бы император обратил на него внимание, лишь бы подарил его ласковой улыбкой; но Петр упорно продолжал не замечать его. Всемогущий правитель государства, еще так недавно считавший себя наверху земного величия, даже со стороны теперь начинал казаться жалким: в нем клокотали и злоба, и гордость, и оскорбленное самолюбие, и страх – невольный и мучительный. Этот человек умел ладить с Великим Петром, умел обращать в самые страшные минуты грозный гнев царя в милость любящего друга, а вот теперь двенадцатилетний мальчик оказался ему не по силам!

«Да нет, этого быть не может, все это пройдет, только туча налетела, – успокаивал себя Меншиков, – разве в силах они раздавить меня! Нет, это невозможно!» Он снова гордо поднимал свою голову и презрительно оглядывался на окружающих. Взгляды многих опускались перед ним: всем было как-то неловко смотреть на него, все понимали его положение лучше, чем понимал он сам.

На бедной княгине Дарье Михайловне лица совсем не было; царская невеста, окруженная придворными женщинами, была, по обыкновению своему, ко всему равнодушна. Младшая сестра ее оказалась чем-то необыкновенно расстроенной, но ее горе было другого рода. Она поведала его своему другу, великой княжне Наталье: ее брак с принцем Ангальт-Дессауским расстроился.

Андрей Иванович Остерман всячески избегал встречаться с светлейшим князем, а при встречах строил самую умильную и печальную физиономию. Но теперь он уже не мог обмануть Меншикова: тот неопровержимо решил, что вся беда главным образом от Остермана.

– Что же это наконец, – сказал он Андрею Ивановичу, – разве это возможно, что император ни разу не подошел к моей дочери, или она ему не невеста? Чего ты смотришь, воспитатель?

– Его Величество так занят приготовлениями к вечернему празднику, так рассеян сегодня... Но я сейчас же доложу ему о легкомысленном его поведении; ваша высококняжеская милость, можешь быть спокойным, да ведь и государь-то почти ребенок еще, можно ли с него так взыскивать!..

Меншиков ничего не ответил, а Остерман подошел прямо к императору и передал ему жалобу князя. Он действительно сказал, что Петр не должен пренебрегать своими обязанностями относительно невесты, но сказал это таким тоном, что несколько не рассердил Петра.

– Андрей Иваныч, – ответил император, – поди и скажи от меня Меншикову вот что: скажи, разве не довольно, что я люблю ее в сердце, ласки излишни, а что касается до свадьбы, то ведь Меншиков знает, что я не намерен жениться ранее двадцати пяти лет. Поди и сейчас же передай ему слова мои.

Остерман немедленно исполнил приказ императора. Меншиков позеленел от злобы.

Вечером, во время маскарада, царская невеста явилась в костюме Минервы. Это ужасно раздражило Петра, так как и великая княжна Наталья была точно так же одета.

– Смотри, – громко сказал Петр, обращаясь к Долгорукому, – у нас две Минервы, но только одна из них фальшивая!

Наконец Петр счел своею обязанностью пригласить на один танец княжну Марию Александровну. Она не сделала ему никакого замечания, никакого упрека и упорно молчала, дожидаясь, чтоб он заговорил с ней.

– Зачем вы так оделись? – спросил император. – Разве вы не знали, что у нас еще заранее было решено моей сестре быть Минервой?

– Не знала, государь, – просто ответила княжна.

– Напрасно. Или вы думали, что к вам этот наряд больше пойдет? Может быть, вам кто-нибудь и сказал это?

– Никто ничего мне не говорил, и мне решительно все равно, что идет ко мне и что нет, – тихо проговорила она.

– Это нехорошо, – засмеялся император, – ведь вы еще в старухи не записались. Вам надо быть прекрасной, хоть даже наперекор Создателю!

Вот до чего дошел Петр. Даже княжна, несмотря на все свое равнодушие, побледнела и едва не расплакалась.

– Зачем вы меня колете, государь? Если я вам не нравлюсь, оставьте меня, но я ничем не заслужила ваших насмешек!

Петр взглянул на нее: перед ним было длинное, противное ему лицо, но теперь на этом лице изобразилось чувство собственного достоинства, на глазах блеснули слезы. У юного императора было доброе, славное сердце, только уж очень его раздражала, возбуждала ненависть ко всему этому семейству.

Ему вдруг жалко стало княжну, и он с откровенной, смущенной и ласковой миной попросил у нее прощения.

– Я не хотел обидеть вас, простите, – прошептали его губы.

Княжна только пожала плечами, и до конца они не сказали друг другу ни слова.

– Что говорил с тобой император? – спросила у дочери Дарья Михайловна, как только это оказалось удобным.

– Он назвал меня уродом, матушка, – ответила княжна.

– Господи, да ведь это не может быть; зачем ты меня пугаешь?

– Ну, не такими словами, а сказал это самое.

Бедная княгиня понурила голову и ушла из Монплезира в глубь парка; она не могла больше владеть собою. Она все поняла, все угадала, и для нее не оставалось никакой надежды. Она заметила даже, что не так уже заискивают перед нею. Пришел всему конец, и ничего больше не поправишь... И глубже в парк спешила Дарья Михайловна. Она натыкалась на кусты, не замечала, как зацепляется и рвется о сухие ветки кружево ее платья; не замечала вечерней сырости, росы, мочившей ей ноги. Крупные слезы текли по щекам ее, смывая белила и румяна. «Что теперь делать, что делать?» – шептала она и решила на последнее средство: обратиться к великой княжне Наталье. Она скоро нашла ее. Царевна тоже бежала от шума и искала уединения. И юное, безвременно отцветающее лицо Натальи Алексеевны, и старое, отцветшее лицо княгини были одинаково печальны и расстроены, и причина этого расстройства была одна и та же – юный император.

– Ваше высочество, голубушка моя, Наташенька, позволь сказать слово, – проговорила в волнении Дарья Михайловна.

– Говори, княгиня, тут никто нас не слышит.

Великая княжна подняла на нее глаза и почти не узнала княгини.

– Дарья Михайловна, что с тобой? На тебе лица нет!

Княгиня не выдержала и заплакала.

– Матушка, золотая моя, хоть ты заступись за нас! Коли Александр Данилыч в чем виноват – так мы неповинны! Сердечно люблю я вас всех и почитаю, за что же Его Величество так немилостив, за что обижает он мою дочку? Заступись, царевна, замолви ласковое слово. Не любя Машенька Его Величеству, так и не надо. Все еще поправить можно – не обвенчаны, а за что же обиды, за что погибель?!

Великая княжна взяла Дарью Михайловну за руки и грустно на нее глядела.

– Эх, княгиня, уж и не знаю, могу ли помочь я этому! И мне, пожалуй, не лучше твоего – не больно ведь слушает меня братец, у всех у нас много горя! А насчет княжны Марии я скажу тебе: и нельзя винить братца – насильно мил не будешь.

Так и не дождалась ничего бедная княгиня; последняя надежда ее рушилась, никто за них не заступится.

«Что ж это Данилыч, видно, не жалко ему головы своей, неужто не видит он, что теперь самому скорей от всего нужно отступить, только этим и спасет и себя, и всех нас. Господи, помилуй, не попусти! – закрестилась княгиня. – Не знаю, на чем и остановиться, – ох, тяжело, как и до утра доживу, не знаю».

## VII

Угрюмый и злобный въехал Меншиков в свой Ранбов. Ничего и никого не замечая, прошел он через анфиладу апартаментов роскошного своего дворца и заперся у себя в рабочей комнате, и к столу даже не вышел. Княгиня во что бы то ни стало решилась переговорить с ним и, если возможно, добиться от него какого-нибудь благоразумного решения. Только гневен уж очень нынче, как и подступиться к нему, не знает она! Вот тихонько подошла Дарья Михайловна к запертой его двери, прислушалась. Тяжелыми шагами ходит он по комнате. Она стукнула.

– Кто там? – раздался мрачный его голос.

– Я, Данилыч,пусти меня, очень нужно.

– Еще что там?

Но он все же отпер дверь.

– Батюшка, Данилыч, голубчик, что же это такое? На какой конец все это? – залилась Дарья Михайловна горькими слезами.

– Не хнычь, и без тебя тошно, – отвечал Меншиков. – Ну, чего тебе? С чем пришла?

– Не сердись ты на меня, Данилыч, лучше поговорим, что нам делать, подумаем вместе. Беда неминуемая над нами – сам, чай, понимаешь! На меня нынче во дворце никто и внимания не обратил, а Машеньку так государь прямо что, почитай, назвал уродом!..

– А, я еще не знал этого, – заскрежетал зубами Меншиков. – Так вот как! Вот до чего дошли! Ну нет, все перевернуть нужно, не бывать этому! Ничего они со мной не поделают!

У княгини и руки опустились. Она все же думала, что смирится теперь ее Данилыч, поймет свое бессилие, а он все еще заносится, все еще считает себя прежним человеком.

– Трудно, трудно теперь справиться! Хитры враги наши, и вот что я хотела сказать тебе, Данилыч, голубчик мой, подумай о нас всех. Только одно теперь остается – нужно как-нибудь умиловить императора. Ты уж стар становишься, болен, я тоже, а о детях наших позаботиться нам нужно, их спасти от гибели. Брось все, откажись, уедем подальше, хоть на Украину, ступай попроси себе там начальство над войском. А мы где-нибудь укроемся, чтоб о нас не было и слышно; пускай все успокоится. Голубчик, Данилыч, только так нам и можно спастись; авось умилосердится государь, а то ты ничего с ним не поделаешь, только себя и всех нас погубишь...

– Дарья, не твоего ума это дело! – крикнул Меншиков. – Трусить, в ногах валяться... нет, еще не время! Для того ли я всю жизнь свою положил на службу России, для того ли поднялся, чтобы на старости лет скрыться в нору, как крот какой-нибудь, или на царской кухне дожидаться подачки!.. Нет, Дарья, нет, все еще поправить можно, я покажу им! Вот постой, в воскресенье третьего сентября у нас будет освящение церкви, приедет ко мне государь, и все я поправлю. Не дам я врагам моим насмеяться надо мною, я покажу этой мелкоте несчастной, что не с Александром Меншиковым им тягаться!.. А теперь мне ни слова, слышишь, Дарья, и не доводи ты меня... зол я нынче.

Княгиня взглянула на мужа и убедилась, что действительно лучше оставить его в покое. Печально и едва держась на ногах, побрела она на свою половину.

Меншиков очень рассчитывал на освящение своей церкви. Присутствие императора в его доме и по такому случаю уничтожило бы все слухи о вражде между ними и неприятностях. Тут же представлялось удобным хорошенько переговорить с Петром и разными средствами смягчить его и устроить искреннее примирение.

Еще за четыре дня до освящения Меншиков поехал в Петергоф и с самым униженным видом упрасивал Петра посетить его.

– Не знаю, как сказать тебе, князь, на охоту я собираюсь – поспею ли?

– Ваше Величество! Будь милостив, по гроб тебе этого не забуду, не откажи мне.

«Эх, как пристал, отвязаться бы от него поскорее!» – раздражительно подумал Петр.

– Ну хорошо, хорошо, приеду, обещаю, – сказал он.

Меншиков рассыпался в благодарностях и успокоенный вернулся в Ранбов. Он так был доволен, что даже забыл пригласить на торжество цесаревну Елизавету, а ему никак бы не следовало забывать этого.

Вернувшись к себе, князь начал отдавать приказания относительно устройства приема императора: ему хотелось не ударить лицом в грязь и устроить все как можно великолепнее. Три дня длились приготовления. Наконец все было готово, у церкви собралось множество народу. Красное сукно было разостлано от самого дома до церковной паперти, гирлянды цветов и зелени были развешены всюду. Духовенство в новом блестящем облачении уже приготовилось к начатию службы, и только дожидались императора.

– Что же не едет государь? – озабоченно спрашивал Меншиков у приехавших из Петергофа, и все отвечали ему одно и то же:

– Вчера собирался, а сегодня не слышно что-то.

Прошел еще час. По дороге были разосланы гонцы, но никто из них не возвращался. Меншиков начинал волноваться больше и больше и вдруг вспомнил, что позабыл пригласить цесаревну. Он бы сам теперь полетел за нею, но было поздно. А служба давно, давно должна была начаться. Между присутствовавшими шел почти уже нескрываемый ропот, перешептывания, предположения разного рода, невыносимые и обидные для Меншикова.

«Что, если не приедет?! – с отчаянием думал он. – Тогда все надо мной насмеются, тогда всем будет вольно лягать меня!..»

Вот наконец показался какой-то всадник, но он не из гонцов князя – он из Петергофа... Господи... Что такое?

– Его Императорское Величество изволили приказать доложить светлейшему князю, что они никак не могут быть! – возвестил посланный.

– Да отчего, отчего? – отчаянно кричал Меншиков.

Но ему ничего не ответили. Он побледнел, зашатался и едва устоял на месте.

Так и освятили церковь без присутствия императора и царевен.

## VIII

На другой день Александр Данилыч приехал в Петергоф на ночь и долго искал случая увидаться с императором, но нигде не мог его встретить. Наконец он заметил его в парке с не покидавшим его теперь Долгоруким и другими молодыми людьми. Князь бросился ему навстречу и спрашивал его, отчего он не приехал вчера и за что такая немилость?

– Не мог я, не мог, нездоровилось, – отвечал Петр, не глядя на Меншикова.

– Ваше Величество... – начал было тот.

Но император перебил его:

– Прости, князь, мне некогда, спешу!

И он быстро прошел мимо со своею свитой.

Александр Данилович остановился с опущенной головою, в совершенном отчаянии. Только теперь он наконец понял всю безвыходность и безнадежность своего положения. Только теперь окончательно смирилась его гордость, и он был готов на коленях вымаливать себе прощения, готов был от всего отказаться, уступить кому угодно власть, только бы его помиловали.

Он остался ночевать в Петергофе, но не спал почти всю эту ночь, и все думал, и ничего не мог придумать.

На другой день опять был в Петергофе праздник: именины цесаревны Елизаветы. Авось хоть тут можно будет что-нибудь устроить, авось выпадет случай объясниться с императором.

Рано утром приехали и княгиня Дарья Михайловна с дочерьми. На них никто почти не смотрел, все старались с ними не встречаться, быть от них подальше. Никто не сомневался, что гроза разразилась над Меншиковыми, и многие соображали, что теперь быть с ними даже не совсем безопасно – за друзей еще примут, за сторонников. И у Меншиковых не оказалось ни одного друга.

Князь Александр Данилыч еще до приезда жены вздумал пройти к Петру и настоять на объяснении, но ему доложили, что император сейчас только выехал на охоту. Не зная, что делать, Меншиков поспешил в апартаменты великой княжны Натальи, но она, узнав, что он идет, и ни за что не желая говорить с ним, выпрыгнула из окошка и отправилась вместе с братом. Одно только оставалось князю – идти к имениннице, цесаревне Елизавете. Он и пошел ее поздравить. Елизавета приняла его, и приняла довольно любезно. Слава богу, никого нет, можно поговорить, а говорить необходимо: на душе так тяжело, так смутно, нужно перед кем-нибудь высказаться.

– Что это вы, князь, такой хмурый сегодня, или опять нездоровы? – навела на разговор сама Елизавета.

– Как же не быть мне хмурым, принцесса, – печально заговорил Меншиков, – разве я не вижу, что все вооружены против меня, что лютые враги мои, наверное, оклеветали меня перед Его Величеством и перед всеми вами.

– Ах, совсем нет, никто не клеветал, – сказала Елизавета.

– Не разуверить вам меня, принцесса, разве у меня глаз нет, разве я не вижу? И за что так обижает меня император? Я всегда думал, что у него доброе сердце, что он умеет ценить заслуги и расположение к нему – неужто ж я ошибался? Я всего себя посвятил на службу ему и государству, мало, что ли, я о нем заботился? Если и досаждал когда своей взыскательностью, так ведь такова была моя обязанность. Потакать ему грех был великий: я обещание дал покойной государыне, вашей матушке, внука учить и воспитать на славу Российского государства. Я должен был все силы свои положить на то, чтобы из него вышел государь справедливый и просвещенный. Вот он пенял на меня, что много заставляю учиться, – а как же иначе? Что с ним будет, коли он с этих пор перестанет учиться? Ведь вот незабвенный родитель ваш всю жизнь учился и только этим великим учением и прославил Россию. За что же такая неблаго-



дарность? Да теперь взять и то, ведь я все здоровье свое расстроил в делах государственных, ведь покою себе не знаю, с утра до ночи занят, хоть бы это пришло на мысль Его Величеству, за что же на меня такая напасть? За что все это?

Цесаревна сидела, потупив глаза, – ей, очевидно, было очень неловко.

– Я знаю, князь, все ваши заслуги, – наконец сказала она, – и, конечно, государь их тоже не может не видеть, он очень умен, он все понимает, только что ж делать, если вы слишком многого хотите за эти заслуги. Уж говорить откровенно, так скажу я вам, что княжна ваша не по сердцу императору, и что ж с этим поделать?

– Если только это, – зашептал Меншиков, – все это поправимо. Матушка-цесаревна, поговорите с Его Величеством, он вас послушает, скажите ему, что все переделать можно! Моя дочь откажется, она уедет отсюда, она пойдет в монастырь, если нужно! Да и сам я хочу на покой, и я уеду хоть на Украину, к тому же там и пригожусь, может: войско еще не забыло меня, всякий солдат еще помнит наши дела военные, в которых не ударял я лицом в грязь; еще там послужу царю и отечеству. Цесаревна, будьте моей заступницей, скажите все это государю, пусть только он преложит гнев на милость!..

Елизавета обещала Меншикову исполнить его просьбу и очень была рада, когда он ушел от нее.

Он отправился искать жену и дочерей, а они давно его уж дожидались.

Княгиня Дарья Михайловна со слезами стала жаловаться мужу на то, что их все обижают тут, едва отвечают им.

– Уедем отсюда, уедем, невтерпеж мне, князь, такое унижение!..

– Хорошо, уедем! – вдруг ответил Меншиков и приказал запрягать свои экипажи.

Но они поехали не в Ораниенбаум, а в Петербург.

Прямо с дороги, не заезжая на Васильевский остров, Меншиков отправился в заседание Верховного совета. Там в этот день присутствовали: Апраксин, Головкин и Голицын. Меншикова не ожидали, и при его входе все переглянулись между собою. Он это сейчас же заметил.

– Что у вас тут на сегодня? – спросил он.

– А вот господин интендант Мошков докладывает, что летний и зимний дома Его Величества в три дня могут быть убраны к случаю государева приезда. Вот и указ Его Величества.

Меншиков прочел:

«Летний и зимний дома, где надлежит починить и совсем убрать, чтобы совсем были готовы...» Дальше он не мог читать, у него потемнело в глазах.

Подъезжая к своему дому, он увидел, как укладывают и вывозят вещи из апартаментов Петра. Совсем обессиленный вошел он в свои палаты, никому не говоря ни слова. Нечего теперь ему делать, не на что надеяться...

Он заперся на ключ и пробовал даже молиться, но молитва не шла ему на ум, да он и не умел молиться.

Вечеру, однако, он вышел из своего оцепенения; стал метаться по комнатам, закричал на жену, пробовавшую было заговорить с ним, и вдруг приказал закладывать экипаж. Он опять поехал в Петергоф уже ночью, а наутро, чуть свет, отправился в домик Остермана.

Барон Андрей Иванович только что встал с постели и при входе князя ласково поднялся ему навстречу. Теперь он совсем не был болен, а напротив того, во всей его фигуре и движениях изображалось полное довольство собою и здоровьем.

Меншиков не подал руки Андрею Ивановичу и прямо приступил к делу.

– Предатель! – с искаженным лицом зашептал он. – Так вот твоя благодарность! Вот что ты для меня сделал! Что ж, и теперь, пожалуй, станешь вывертываться, говорить, что для меня старался?!

– Ах, ваша милость, ты опять со старым, – проговорил Остерман.

Но Меншиков не обратил никакого внимания на его слова.

– Ведь император не хочет говорить даже со мною, не глядит на меня... Сейчас же объясни мне, что это значит?

Андрей Иванович пожал плечами.

– Боже мой, да я-то почему знаю? Право, ты принимаешь меня за нечто нераздельное с императором. Как же я могу отвечать за него? Я могу говорить ему, убеждать, но он волен меня не слушать. Ты говоришь, ваша светлость, что он не глядит на тебя, а завтра, может, и на меня глядеть не будет, так я-то чему тут причиной? Я не могу отвечать за чувство Его Величества. Вот он теперь от рук совсем отбился, с ним и говорить-то, не то что спорить, не приходится!..

– А, вот как! – заскрежетал зубами Меншиков. – Вот как ты теперь поговариваешь, немецкая лисица! Так вот ты какой воспитатель, вот как исполняешь свои обязанности! Тебе нужно на добро наставлять императора, внушать ему непрестанно добрые правила, на то ты к нему и приставлен, а ты только потакаешь всему дурному – вот ты какой воспитатель!

Остерман молчал и сидел совершенно спокойно.

– Что же ты думаешь, что на все твои бесчинства и дерзости никакого суда нет, ты думаешь, что все можешь творить безнаказанно?! Но я еще, голубчик, докажу тебе, что ты ошибаешься: не всегда и хитрость помогает. Знаю я все, – продолжал, задыхаясь, Меншиков, – все теперь знаю, не скрылся ты от меня: ты немец, ты безбожник, ты от православия отвращаешь государя, вот ты что делаешь! А ты знаешь ли, что за это тебе будет? Ты вот мне яму выкопал, да смотри, сам попадешь в нее – за соращение государя в безверие твое ты будешь колесован!..

Меншиков замолчал: он не был в состоянии больше выговорить слова. Лицо его было страшно; он поднялся перед Остерманом и сверкал на него глазами. Но барон Андрей Иванович несколько не смутился. Тихим и мягким своим голосом сказал он князю:

– Можешь говорить все, что тебе угодно, меня ничем не испугаешь. Я знаю, что мне надлежит делать, знаю свои обязанности и веду себя так, что меня колесовать не за что; а вот я так скажу тебе, что знаю одного человека, который взаправду может быть колесован!..

Андрей Иванович медленно поднялся и вышел из комнаты, а потом и совсем из своего домика.

Меншиков несколько минут сидел неподвижно, ничего не понимая, и наконец сам вышел, опустив голову. Все предметы кружились перед его глазами, ему казалось, что сам он кружится в каком-то вихре и мчится куда-то в черную пропасть. Ему становилось душно, невыносимо.

## IX

С каждым днем все более и более волновался придворный мир, окружавший маленького императора. Наконец наступило ожидаемое всеми время: над головой всевластного Меншикова должна была разразиться гроза, и эта гроза окончательно его повалит – и рухнет с корнем дуб, над которым тщетно пробовали свою силу всякие хитрые и нехитрые люди. Еще недавно думали, что борьба со светлейшим немыслима, но вот один ложный шаг этого великана преобразил робкого ребенка в неумолимого врага. И этот ребенок выступил смело в открытую борьбу с великаном, и вот-вот повалит его, и ничего не останется от великана. И волновались, и радовались, обсуждая это, придворные люди. Пуще всех работал барон Андрей Иванович, но его работа, по обыкновению, велась самыми таинственными путями и никому в глаза не бросалась. Совсем иначе действовали представители старинной, еще недавно имевшей огромное значение, но теперь отодвинутой Меншиковым на второй план, фамилии, князя Долгорукие. Они были самыми злейшими врагами Меншикова, никогда не могли ему простить его необычайного возвышения, тем более что был он человек низкого происхождения.

Долгоруких было много. Один из них, князь Алексей Григорьевич, человек ловкий, хитрый, хотя и бесхарактерный, сумел постоянными угождениями и лестью понравиться юному императору. Сын его, Иван Алексеевич, как мы уже видели, был другом Петра, его наперсником. Был и еще один Долгорукий – Василий Лукич, двоюродный брат Алексея Григорьевича, известный дипломат. Этот умом своим и характером мог заткнуть за пояс всю родню, и его пуще всего должен был бояться Меншиков.

В то время как Александр Данилович метался, не зная, что предпринять, разъезжал из Петергофа в Ораниенбаум и обратно, Долгорукие неизменно находились при императоре. Поздно по вечерам собирались они всей родней у Алексея Григорьевича в одном из петергофских домиков. В этом же небольшом, но богато устроенном домике жила и княгиня, жена Алексея Григорьевича, и две ее дочери.

Император только что вернулся с охоты. Он устал, лег спать и отпустил от себя Ивана Долгорукого. Тот отправился было домой, но вдруг какая-то счастливая мысль пришла ему в голову, и он повернул в другую сторону.

«Опять толкуют старики! – подумал он, глядя на освещенные отцовские окна. – Все там одно и то же, скука смертная. Да и ничего особенного нет рассказать им, еще успею вернуться...» И князь Иван, насвистывая какую-то веселую песню, спешными шагами направился в глубину парка.

В домике Долгоруких происходило родственное совещание. Тут находился и Сергей Григорьевич, родной брат Алексея, и Михаил Владимирович, дальний его родственник, и сам Василий Лукич.

– Час-то ведь уж поздний, – заметил Алексей Григорьевич, посмотрев в окно, за которым в тишине и темноте ночи шептались деревья. – Неужто до сих пор они не вернулись?

– Как не вернуться, вернулись, – сказал Сергей Долгорукий.

– Куда же это Иван запропастился?.. Опять где-нибудь беспутничает, – проворчал Алексей Григорьевич.

– Ну, небось было бы что важное, забежал бы сказать, – отозвался молчаливо сидевший в углу Василий Лукич. – Беспутный малый твой Иван, да не совсем, до дела дойдет, так все шалости забывает! Ты, брат, его не очень уж – я за него всегда заступлюсь. Ничего, прок из него будет! Он дела свои получше нас с тобой обделывает. Правда, выдержки еще нету, ну да навоюется.

– Не хвали ты Ивана, братец, хоть и сын он мне и в деле нашем человек нужный, а ничего я про него сказать не могу. Вон у матери спроси – с детства такой был; да и боюсь я тоже,

как бы он не зарвался... Мы тут свои все, – скажу я тебе, что Иван-то мой выдумал, знаешь, с чем подъезжает теперь: вот, говорит, не сегодня завтра Данилычу капут, так мы дело повернем таким манером: из сестер, говорит, кого-нибудь, ну, хоть Катюшу, – она больно смазлива – наместо Марьи Меншиковой выдадим за императора, а сам я – это Иван-то говорит, – тоже себе невесту приметил.

– Что? Кого? – спросили все разом.

– А кого бы вы думали?

– Неужто великую княжну Наталью?

– Нет, не туда он метил, ему больше по нраву цесаревна Елизавета.

– Ну, гусь! – с улыбкой поднялся Василий Лукич. – Ты чего же это, брат, говоришь, что проку в нем мало? Нет, прок хорош. Ты говоришь – зарвался, а я не того мнения. Конечно, с этим делом надо осторожно, и теперь ни гугу! А что ж, в конце концов так и быть должно. Я сам не раз об этом всем думал – и странно, что тебе до сей поры, до сыновних слов, в голову того же не приходило. Что ж, даром, что ли, Меншиков-то полетит? Что ж, нам так и остаться и сидеть сложа руки? Кому это дорогу уступать – Голицыным? Эх, брат, ты держись за такого сына! Только если все так и будет, как он сказал тебе, только тогда мы и можем быть спокойными, а то всякая креатура, немец всякий – Андрей Остерман нас учнет гнуть в три погибели.

– Что ж ты так на Остермана? – перебил Алексей Григорьевич. – Остерман, конечно, не друг нам, да и опасности от него никакой я не вижу. Пусть он теперь для кого угодно, хоть для себя работает, нам только от того польза выходит. Ведь как ни говори, а не меньше Ивана он у императора значит. Меншиковская-то беда главным образом его рук дело! Нам еще и в голову ничего не приходило, мы еще воображали себе, что Меншиков, как статуя каменный, недвижим, а немец вокруг него уж копался себе помаленьку, да и подкопал статуи – статуи и пошатнулся...

– Так-то так, все это ты верно описал, – своим тихим голосом заговорил Василий Лукич, – только как же ты видеть не хочешь, что за птица этот Андрей Иванович? Как под Меншикова, аки крот подземный, подкопался, так ведь и под нас подкопаться может – и не заметишь. И в мышеловку попадешь, а все не будешь понимать, кто тебя туда сунул; вон Данилыч; разве понимает? Не совсем, я думаю.

– Так ты как же? – подсел Алексей к Василию Лукичу. – Я думал... Иван зарвался, а ты, братец, точно полагаешь все сие возможным? И сам будешь орудовать?

– Еще бы! Только опять говорю – ни гугу!

– Ну да уж знамо, знамо! – замотали головами остальные Долгорукие.

В это время в комнату вбежала хорошенькая пятнадцатилетняя девушка. Она обвела бойкими черными глазами всех присутствовавших и радостно бросилась на шею к князю Василию Лукичу.

– Здравствуй, Катюша, здравствуй! – поцеловал он ее. – Точно что не виделись сегодня. А что ж не спишь? Поздно, спать пора! Вот глазки-то совсем осоловели.

Он взял ее за подбородок и с удовольствием рассматривал ее свежее, хорошенькое личико.

– Да спать что-то не хочется, дяденька, и матушка не спит тоже – прислала спросить, не хотите ли ужинать? Велишь, батюшка, подавать ужин? – обратилась она к Алексею Григорьевичу.

– Да, хорошо, вели подавать ужин, а сама иди спать, иди спать – разбаловала уж очень тебя матушка!

Катюша сделала вид, будто испугалась сурового голоса отца, и, грациозно отвесив всем поклон, выбежала из комнаты.

– Ну, чем же не царская невеста! – засмеялся ей вслед Василий Лукич. – Хотел бы я, брат, иметь такую дочку, я бы не иначе ее и готовил как в царские невесты. Вот пожди годик-другой, распустится она аки розан, кто ж с красотой поспорит, разве что царевна!

Князь Алексей Григорьевич ничего не возражал. Теперь, после рассуждений двоюродного брата, который всегда имел на него огромное влияние, он уж иначе взглянул на все дело. Сразу ему точно что показалось невероятным осуществление безумных сыновних планов: еще так недавно все они, Долгорукие, были в тени, в загоне. Но, боже мой, ведь тут один день все вверх дном повертывает, что же мудреного – вчера вон княжна Меншикова величалась государыней, завтра никто и не вспомнит про княжну Меншикову, государыней будет величаться Катюша, только бы удержаться, только бы не забыть примера того же Меншикова! Ну да мы удержимся, нас-то много, да и голова у нас хорошая есть, – братец Василий Лукич – этот на все мастер!

– Одно теперь надо, – оживленно обратился Алексей Григорьевич ко всем, – одно надо, сплотиться нам крепче, врозь не смотреть, как один человек орудовать, тогда много сделать можно.

– Вот это так, – заметил Василий Лукич, – я давно уже подумываю, как бы нам с силами собраться. Много-то нас много, да что в том толку! Вот Меншикова не будет, а Голицын и Остерман все же останутся, а Голицыны, как вы думаете, легко с ними справиться? Там у них один Михайло-фельдмаршал чего стоит!

– Что ж, князь Василий, – заметил Михайло Владимирович, – поискать между нами, так и у нас найдется человек не хуже князя Михайлы Голицына. Видно, точно, что все теперь о брате Василье Владимировиче позабыли, видно, долго был он в опале, да и теперь, вишь, далеко в Персии. Кабы нам вернуть его сюда, так много бы у нас силы прибавилось.

– Ты это напрасно так думаешь, – повернулся в сторону Михаила Владимировича Василий Лукич. – Напрасно думаешь, что мы твоего брата позабыли, я вот о нем все эти дни думаю. Сам знаю, что не обойтись нам без него, нужный он нам человек, ух, как нужно вернуть нам его! Только что Меншиков провалится, так сейчас же и вернуть князя Василья Владимировича...

– Это точно, это так! – отозвались все.

В соседней комнате был подан ужин, и Алексей Григорьевич пригласил своих гостей закусить и выпить.

Они продолжали толковать об ожидаемом со дня на день окончательном низвержении Меншикова, и под конец все до одного были в самом лучшем настроении духа. Князь Алексей изрядно тянул вино из серебряной чарки, и теперь ему уж совсем не казалось страшно и невероятно видеть в своей дочери Катюше будущую императрицу. Теперь, по мере того как начинало приятно шуметь в голове, он все более и более входил во вкус планов своего нелюбимого сына Ивана, ему уж начали представляться самые соблазнительные сцены, заговорило и заклокотало в нем несколько придавленное обстоятельствами честолюбие.

– А нейдет-таки негодный Иван! – стукнул он кулаком по столу. – Того и жди, отобьет у кого-нибудь жену, нарвется на историю, исколотит его кто-нибудь, убьет, пожалуй, ну и пиши все пропало!

– Небось, небось, брат, – смеялся Василий Лукич. – Не таков твой Иван, не дастся в обиду. Ну а насчет чужой жены – это точно, не знаю, в кого он, может, и в папеньку. Признайся, старина, княгиня-то далеко – не услышит!

Князь Алексей приятно ухмыльнулся, очень может быть, что через минуту он бы начал какое-нибудь пикантное повествование из дней своей молодости, он уж даже, ободренный любимым и уважаемым двоюродным братом, собирался начать что-то рассказывать, как вдруг раздался неистовый стук в наружную дверь домика, и, прежде чем слуга ее отворил, послышался громкий голос.

Через минуту на пороге комнаты показалась фигура молодого князя Ивана.

– А, за ужином, честная компания! – бесцеремонно крикнул он, снимая шляпу. – И меня не подождали... Ну а вино не все выпил родитель?.. Сынку-то оставил?.. Я выпью, я могу!

Он, очевидно, и так уж изрядно выпил. Пошатываясь, подошел он к столу, грузно опустился в кресло, подпер раскрасневшееся лицо руками и осматривал всех мутным взглядом.

– Хорош! – развел на него руками отец. – Ну, вот заступайся ты за него, Василий Лукич, вот он каков! Весь тут перед тобою! Я ему говорю: пьянствуй, беспутствуй, дебоширничай, только так, чтоб ни одна собака об этом не ведала, потому он теперь пуще всего свою репутацию соблюдать должен, а он разве о словах моих думает? Ему нечего вот так орать на весь Петергоф! Чай, по роще шел, песни пел, со всеми в драку лез. На что же это похоже? Как трезвый, так еще ничего, иной раз и толк показывает, да вот таким-то уж больно часто являться стал. У! Не глядеть бы на него – совсем из рук выбился...

Князь Иван пристально смотрел на отца во все время этой речи и вдруг расхохотался самым беззаботным и бесцеремонным образом.

– Дядюшка Василий Лукич, заступись хоть ты, вот он так каждый день... Право, я скоро на него челом буду бить государю!

– Молчи, негодный! – крикнул на него Алексей Григорьевич. – Не зазнавайся больно, я еще тебе покажу, что я твой отец.

– Да полноте, перестаньте, – вступился Василий Лукич. – Где был, племянничек? Что поделявал?

– Так вот я вам сейчас и скажу, где я был!

– Ну а что государь – в добром здоровье?

– Здоров, теперь почивает, да и мне пора тоже.

Князь Иван совсем наклонил голову к столу и скоро захрапел.

– Унесите его, разденьте! – обратился Алексей Григорьевич к слугам.

Те осторожно приступили к исполнению этого приказанья.

– Да, это плохо, – задумчиво сказал Василий Лукич, – я завтра с ним поговорю. Очень дурить стал твой Иван, а так нельзя – все дело может испортить.

– Я уже тебе говорил, говорил! – махнул рукою Алексей Григорьевич.

В это время в том же самом домике, в маленькой спальне княжон Долгоруких, на мягкой, с пышно вздутыми перинами и высоким балдахинном кровати сидела Катюша. Ночь была теплая, окно отворено. Рядом спала ее сестра, и спала крепко, время от времени что-то шептала во сне, какие-то непонятные отрывочные слова. Слабый свет лампадки, зажженной в углу перед иконами, озарял кровать Катюши и всю ее небольшую, грациозную фигуру. Ей было жарко и не спалось. Она откинула одеяло и распустила ворот. Не спалось ей потому, что уж очень она удивилась сегодня, сейчас удивилась. Когда мать послала ее узнать, велит ли отец подавать ужин, и она уже подбежала к дверям комнаты, где толковали Долгорукие, ей ясно послышалось ее имя, произнесенное князем Василием Лукичом. Не удержалась Катюша: что обо мне говорят, дай послушаю! И она приложила ухо к замочной скважине... ну и все услышала. Чудно и странно показалось ей: она будет царской невестой, царицей... да разве это возможно? Да и зачем это!.. Она почти каждый день видела императора, почтительно кланялась ему; когда иной раз он заговаривал с нею, отвечала, потупив глаза, но все же, несмотря на то что ей самой еще не было шестнадцати лет, император казался ей маленьким мальчиком, и никогда не могла она подумать о нем иначе, как о существе особенном, стоявшем далеко и высоко, а тут вдруг хотят, чтоб он сделался ее женихом!..

«И все это брат Иван, чего он не выдумает! А сам-то, сам-то!.. Ах, как все это странно, как странно!..» – шептали губы княжны. Наконец она заснула.

Но в эту ночь и сны ей снились все такие странные: ей снилось, что она царица, что на ней золотая корона, мантия на горностае; ей снилось, что все кланяются ей в ноги, и ей становилось почему-то душно, тяжело, она просыпалась и металась на своей пуховой постели.

## X

Все так же великолепен дом князя Меншикова, такая же толпа прислуги бродит взад и вперед по бесчисленным его комнатам. Но что-то висит над этим домом, и каждому входящему в него с первой минуты это становятся ясным. Да теперь редко кто и заходит к Александру Даниловичу. Он уж третий день в Петербурге, все это знают, и как будто никому до этого нет дела. Давно ли отбою не было от посетителей? Давно ли высокие сановники государства дожидались княжеского выхода со страхом и трепетом и стигались перед князем, чуть не целовали полы его кафтана – да и целовали-таки.

Александр Данилович уж и не ездит в Петергоф, не старается умиловить императора, того и жди, хуже от этого будет. Все царские вещи уже вынесены из меншиковского дома: император не сегодня завтра переезжает в Петербург. Ох, что-то будет! Последние надежные люди доносят, что «там» никто и слова не говорит про Меншиковых, как будто их и нет на свете; «там» теперь только Долгорукие и немецкая креатура. Ломает себе голову Александр Данилович: к кому бы обратиться, да что теперь выдумаешь? Сам оттолкнул от себя всех. Думал, никто и не пригодится, никто и не будет никогда нужен, а вот теперь пригодился бы каждый маленький человечек, да нет никого: все разбежались, все врагами смотрят, все лягать готовы!

Последняя слабая надежда мелькнула князю – к Голицыну обратиться. Голицын так же, как и он, должен бояться возвышения Долгоруких и Остермана. Голицын ради своих выгод помочь должен. Вот садится Александр Данилович и пишет князю Михаилу Михайловичу Голицыну:

«Извольте, Ваше сиятельство, поспешить сюда как возможно, на почте, и когда изволите прибыть к перспективной дороге, тогда изволите к нам и к брату Вашему прислать с нарочным известие и назначить число, когда намерены будете сюда прибыть, а с Ижоры опять же нас обоих уведомить, понеже весьма желаем, дабы Ваше сиятельство прежде всех изволили видаться с нами».

Спешит, шлет гонца Александр Данилович, что-то будет? Помогут ли уничтожить Долгоруких и Остермана? А кем заменить воспитателя, если удастся его свергнуть, кем заменить? Кто был бы угоден? Вспомнил светлейший про старого учителя Зейкина, которого когда-то любил Петр, и вот другое письмо пишет он к этому Зейкину. Письма посланы, но когда-то еще получатся, когда явятся эти нужные люди? А тут, что ни день, что ни час, беда неминуемая страстись может.

Александр Данилович уж и из дому не выходит, забыл и о Верховном совете – где теперь! Что там – одни обиды только! Как лев, запертый в клетке, бродит из угла в угол по своему рабочему кабинету Александр Данилович, ждет вестей недобрых. А вести недобрые уж близко, вот они у порога, в двери стучатся. Вот докладывают князю: государь и царевны переехали в Летний дом, светлейшему никто из них не дал знать об этом, и сейчас же по переезде государя послано объявить гвардии, чтобы слушались только царских приказаний, которые будут объявлены майорами, князьями Юсуповым и Салтыковым. Это было утром 7 сентября.

Князь решил ждать до вечера. Тянулись часы, нет посланцев из дворца, никто не является, все как в воду канули. Целый день в рот ничего не мог взять Александр Данилович. Стучалась к нему жена – не отпер; дети стучались – не подал голоса. Уж совсем ни о чем не думал князь, мыслей никаких не было, да и о чем теперь думать! Только тоска глухая давит,дохнуть не дает, и деваться некуда от этой тоски, ничем не заглушишь ее!

Вечер. Стемнело, тучи ходят по небу, ветер осенний поднялся и зарябил невские воды. Серо и мрачно, вон из окна слышно: вороны каркают, и пуще надрывается сердце Александра Даниловича, и пуще тоска давит его. Нет, невтерпеж эта убийственная неизвестность, будь что

будет, а узнать надо, что там делается! Самому ехать – ни за что! Пожалуй, даже не впустят. При этой мысли холодный пот показался на высоком морщинистом лбу Меншикова. «Детей пошлю, детей – ведь что же, еще не объявили, ведь Марья все еще царской невестой считается... Они должны поехать поздравить с приездом, должны... пошлю их к царевнам, хоть что-нибудь узнаю». Идет он на половину жены, а та встречает его бледная, дрожащая, лица на ней нет: измаялась вся, исхудала в эти последние ужасные дни Дарья Михайловна.

– Где дочери? – мрачно проговорил князь.

– Дома, дома! Да где же им быть-то?!

– То-то, вели сейчас запрягать, снаряди их, пусть едут поздравить царевен с приездом, пусть все узнают! О господи!

Дарья Михайловна побрела к дочерям, а князь остался на месте, сел в кресло и замер.

Больше часа сидел он так, слова никому не сказал, только головой мотнул, когда доложила ему жена, что дочери во дворец уехали.

Невеселою вышла из экипажа у Летнего сада княжна Марья Александровна. В последние дни и она оставила свое равнодушие; еще больше побледнела она, еще более вытянулось лицо ее, тошно было ей глядеть на свет божий – чуяла она неминуемую гибель.

И цесаревна Елизавета, и великая княжна Наталья дома, а княжон все же дожидаться заставляют: не выходят к ним и к себе не зовут. Полчаса проходит, час – царская невеста опять посылает фрейлину доложить царевнам. Фрейлина возвращается и говорит: «Сейчас выйдут, позабыть изволили о вашем приезде».

– Машенька, что же это такое? – даже задрожала княжна Александра. – Что же это за несносные обиды? Уедем, ради бога. Боже мой, неужели Наташа и от меня отвернется!

Вот великая княжна Наталья показала на пороге, Александра Александровна бросилась к ней: бывало, они встречались закадычными друзьями, целовались и обнимались, бывало, не наглядятся друг на друга, что же это? Что же Наталья глядит и не улыбается, едва протянула руку... целовать не хочет. Что же это? За что же?

– Царевна, чем я виновата перед тобою? – шепчет княжна Александра. – Если есть моя вина, скажи мне. Разве забыла ты, как я люблю тебя, разве забыла ты нашу старую дружбу?

Великая княжна все молчит, ей неловко. Входит цесаревна Елизавета.

– Прошу извинения, – говорит она, обращаясь к княжнам, – забыли мы, что вы здесь дожидаетесь.

– Мы здесь более часа! – шепчут бледные, тонкие губы царской невесты, а на глазах ее блестят слезы.

– Очень жалко, – отвечает Елизавета, – вольно же вам такое время выбрать... Чай, слышали, мы только что переехали, тоже ведь разобраться нужно, не до чужих!

– А я так устала, я нездорова, – замечает великая княжна Наталья.

– Тоже не до чужих, видно! – прорыдала перед нею Александра Александровна.

– Ах, как это скучно! – раздражительно выговорила цесаревна, поднимаясь с места. – Такие любезные гости, от них слова не добьешься. Пойдем, Наташа, у нас там веселее!

Обе они вышли. Меншиковы остались одни в пустой комнате. Никого нет... Боже мой, что же это такое?

Не помня себя обе сестры кинулись к выходу, не помня себя доехали они до дому, прибежали к матери, и обе не могли сказать ни слова, обе только рыдали.

– Да что такое, что? Не томите, не надрывайте душу, расскажите хоть что-нибудь, что с вами там было? – измученным, ослабевшим голосом шептала Дарья Михайловна. – Да говорите, говорите.

И вдруг перед ними очутился отец. На нем лица не было.

– Говорите сейчас же, что там было?! – закричал он.



– А то было, – поднялась перед ним княжна Марья, – то было, что ты погубил и себя, и меня... и всех нас...

Княжна зарыдала и выбежала из комнаты...

– Говори все подробно! – дрожа и сжимая кулаки, обратился князь ко второй дочери. – Говори, не то убью на месте: видели вы государя?

– Нет, не видели, – прорыдала княжна Александра, – да и царевны не выходили к нам больше часа. А вышли, сказали два слова, обидели и ушли, оставив нас одних.

– Как, и Наталья? Ведь она тебя любила...

Бедная княжна зарыдала еще отчаяннее:

– Да, и она... и она на меня смотреть не захотела!

Александр Данилович схватил себя за голову, глаза его остановились, лицо исказилось, он застонал и вдруг без чувств рухнулся на пол. Несчастная Дарья Михайловна с отчаянным криком кинулась к мужу, старалась поднять его, но ей было это не по силам. «Воды, воды, доктора!» – кричала она охрипнувшим голосом. Княжна Александра металась из комнаты в комнату как помешанная. По всему огромному дому все дальше и дальше разносилось: «Доктора, доктора! Светлейший умирает!».

## XI

Страшная, долгая ночь наконец прошла; наступило утро 8 сентября. Светлейший успокоился несколько и заснул только при солнечном восходе. Дарья Михайловна осторожно вышла из его спальни; во всем доме никто почти не ложился спать. С часу на час ожидали Меншиковы решения своей участи. Бедная княгиня выплакала все свои слезы, даже молодой сын Меншикова, до сих пор ни во что не вмешивавшийся и игравший самую незначительную роль в доме, и тот понял всю важность событий, не отходил от матери и старался ее успокоить, но разве можно было успокоить Дарью Михайловну! Она не плакала: глаза ее были сухи, но на нее взглянуть было страшно; она то и дело подходила к дверям спальни мужа и прислушивалась.

Прошло несколько долгих часов, и вот княгине доложили, что из дворца к светлейшему явился майор гвардии, генерал-лейтенант Салтыков.

Дарья Михайловна бросилась к нему, но не получила от него никаких разъяснений.

– Мне нужно видеть князя Александра Даниловича, – сказал он, – проводите меня к нему сейчас же, я не могу без этого уехать.

Делать нечего – пришлось разбудить князя. Он был так слаб, что не мог встать с постели. Салтыков должен был войти к нему.

– По приказу Его Величества объявляю вам арест, чтобы вы никуда не выезжали из своего дома, – сразу сказал Салтыков.

Меншиков открыл глаза, задрожал и вторично упал без чувств. Через несколько минут медик пустил ему кровь. Он очнулся, но глядел на всех бессмысленно и не говорил ни слова.

Дарья Михайловна взяла с собою сына и сестру свою, Варвару Арсеньеву, и поспешила во дворец: там ей сказали, что государь еще не возвращался от обедни. Она осталась в передней комнате дожидаться. Вот и государь – княгиня бросилась перед ним на колени, держала его за полу кафтана. Он не глядел на нее, он пробовал вырваться, но она вцепилась в него и не отпускала.

– Государь, пощади! – задыхаясь и обливаясь слезами, шептала Дарья Михайловна.

Великая княжна Наталья заплакала и убежала к себе. Все окружавшие были расстроены этой сценой – даже и те, кто искренно ненавидел Меншикова. Ненавидели Меншикова, но против жены его никто не мог ничего иметь. Все знали, что она добрая, почтенная женщина, что сама она несчастна и всегда при первой возможности исправляла зло, причиненное ее мужем. И всем было неловко, все опускали глаза, жались к стенам, но ни у одного человека не пошевелился язык на ее защиту.

Защита теперь была бы безумием, это значило бы подвергать самого себя опасности... А княгиня все стоит на коленях, все держится дрожащими руками за камзол императора, мочит пол своими слезами, шепчет невнятные речи, а он все силится от нее вырваться. И вот он вырвался, не сказал ни слова и быстро ушел. Она одна, на коленях, среди комнаты. Сейчас было много народу, теперь никого; все разбрелись, все ушли от нее, точно от чумной, боясь заразиться...

Она кинулась к великой княжне Наталье; по дороге все расступались перед нею, все от нее отворачивались, и никто не говорил с нею. Княжна Наталья тоже убежала от нее и куда-то скрылась. Бродит и мечется Дарья Михайловна по дворцу этому, где каждая комната, каждое кресло, каждая вещь так давно знакомы. Мысли ее спутались: она ничего не понимает, она кидается то туда, то сюда. Император ушел; великая княжна ушла; осталась цесаревна – к ней идти... но и цесаревна не сказала ни слова княгине, у них так, видно, положено было: ни одного слова, ну хоть бы бранить стали, хоть бы тяжелые, обидные речи пришлось ей выслушать, а то ни слова... ни слова! Ведь это еще хуже, еще ужаснее!.. И поняла наконец княгиня, что нет никакого спасения и быть не может, и, шатаясь, вся растрепанная, едва волоча ноги,

протащила она вон из дворца, неся с собою ужасные вести о пришедшей неотвратимой гибели. Но по дороге последняя мысль пришла ей в голову – идти к Остерману.

Остерман по крайней мере принял ее и даже старался успокоить.

– Ну что ж, княгиня, – говорил он, – что ж теперь делать, ничего теперь не поделаешь! Того и ожидать было нужно, очень уж забылся Александр Данилыч; ведь на твоих же глазах, княгиня, все было; вы, чай, помните, как обращался супруг ваш с Его Величеством? Ну и не вытерпел император – оно и понятно! Только вы успокойтесь, княгиня, не на казнь же поведут вас...

– О господи, – стонала Дарья Михайловна, – не на казнь, говоришь ты, Андрей Иванович... а почему я знаю? Ведь не сам ли ты на днях еще говорил Александру Данилычу, что его колесовать нужно, так почему я знаю, может, и колесуют...

– Да ведь я говорил потому, что сам он страдал меня этим и клевету возвел на меня, будто я отвращаю государя от православия.

– Ах, господи! Прости ты, прости, Андрей Иванович, мужу – не знал он сам, что говорил, уж очень обид много было. Прости его, Христа ради, не помяни зла, не помяни. Смилуйся над нами! – И дрожащая княгиня стала на колени перед Остерманом, и так же, как и императора, схватила его за полы и мочила его ноги своими слезами.

– Ах, что вы, что вы, княгиня! – суетился барон Андрей Иванович, стараясь поднять ее.

Но все было тщетно. Он позвал жену, и та начала успокаивать Дарью Михайловну – да чем же они могли ее успокоить? Она хорошо знала, хорошо видела из каждого слова Андрея Ивановича, что он просто не хочет за них заступиться и пустить в ход свое влияние. «Он бы еще мог, он многое может, но вот он не хочет, не хочет – чем же его разжалобить?! Или у людей совсем нет сердца, или им радостно видеть гибель невинных?!»

– Андрей Иванович, голубчик, – заливалась слезами Дарья Михайловна, – смилуйся же наконец, ведь есть же у тебя сердце? Ну, муж виноват, ну, я виновата, хоть не ведаю, в чем вина моя, ну, нас и казнить, да детей за что же? Ведь вот хоть бы Машенька, разве сама она... ведь отец решил... против его воли она идти не могла. И я, глупая, виновата, может, в этом деле... сними мою голову, а детей не губи!

– Ах, княгиня, да я-то тут при чем же, что ж с меня вы хотите? Я ничего не могу, я ничего не знаю, я тут в стороне.

– Андрей Иванович! Много ты можешь, не обманешь меня, знаю я, я все, ведь... Андрей Иванович... Матушка, сударыня моя, Марфа Ивановна, – обращалась она и к жене Остермана, – ведь вот и у вас, Бог даст, вырастут детки, ведь вот и с вами беда может приключиться, все мы под Богом ходим, так хоть ради деток, ради их счастья будущего пожалейте вы меня, несчастную: замолвите слово не за меня, а за детей моих!

Эта сцена становилась слишком длинной и слишком тяжелой. Несмотря на все свое терпение, Остерман видел, что нужно же положить ей конец.

– Княгиня, – сказал он, – ей-богу, мне некогда, в Верховный совет спешить надо, туда нынче приедет сам император, боюсь, опоздаю!

Он решительно вырвал свое платье из рук Дарьи Михайловны и ушел от нее. Она осталась вдвоем с его женой.

– Так и у вас нет никакого сердца, – с ужасом взглянула она на баронессу. – И вы враги лютые! Забыла, видно, ты, сударыня, все мои ласки, всю мою дружбу! Как нужна я была тебе, так руки у меня целовала, а вот теперь и слова за меня сказать не хочешь!..

Баронесса Остерман, приученная мужем к сдержанности, не отвечала ни слова.

– Так вот что я скажу тебе! – снова заговорила Дарья Михайловна, поднимаясь; она вдруг перестала плакать, выпрямилась, как будто исчезли вся ее слабость и все ее отчаяние, глаза ее вспыхнули. – Так вот что я скажу тебе: попомнишь ты день этот и час этот попомнишь! Как меня теперь оттолкнула, так и тебя оттолкнут; как за моих детей не заступилась, так и за твоих

не заступятся, и у тебя будет та же участь, что и у меня, – и ни в ком ты не найдешь поддержки в день твой черный: за меня тебя Бог накажет!

И Дарья Михайловна ушла, оставив за собою последний проблеск надежды; теперь перед нею не было даже и соломинки, за которую бы она могла ухватиться.

А в это время в Верховном тайном совете действительно сам император заседать изволил. Твердую рукою подписывал он указ:

«Понеже мы всемилостивейшее намерение взяли от сего времени сами в Верховном тайном совете присутствовать и всем указам отправленными быть за подписанием собственной нашей руки и Верховного тайного совета: того ради повелели, дабы никакие указы и письма, о каких бы делах оные ни были, которые от князя Меншикова или кого-либо иного партикулярно писаны или отправлены будут, не слушать и по оным отнюдь не исполнять, под опасением нашего гнева, и о сем публиковать всенародно во всем государстве и в войске из Сената». Только что был подписан указ этот, как государю принесли письмо Меншикова, пересланное им через Салтыкова: «Всемилоостивейший государь император, – писал Меншиков, – по Вашего Императорского Величества указу сказан мне арест, и хотя никакого вымышленного перед Вашим Величеством погрешения в совести не нахожу, понеже все чинил я ради лучшей пользы Вашего Величества, в чем свидетельствуюсь нелицемерным судом Божиим, разве может быть, что Вашему Величеству или вселюбезнейшей сестрице вашей, ее императорскому высочеству, учинил в забвении и неведении или в моих к Вашему Величеству для пользы вашей представлениях; и в таком моем неведении и недоумении всенижайше прошу за верные мои к Вашему Величеству службы всемилостивейшего прощенья, и дабы Ваше Величество изволили повелеть меня из-под ареста освободить, памятуя изречение нашего Христа Спасителя: “Да не зайдет солнце в гнев вашем”. Сие все предаю на всемилостивейшее Вашего Величества рассуждение; я же обещаюсь мою к Вашему Величеству верность содержать даже до гроба моего».

Затем Меншиков писал, что сам просит «для своей старости и болезни» от всех дел его уволить. Дальше он оправдывался в некоторых взведенных на него обвинениях, разъясняя смысл сделанных им приказаний, и заканчивал письмо, прося милостивого прощенья.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.